
Л 30

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

…ЛАЦКО



ЛЮДИ НА ВОЙНЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД · 1926

А. ЛАЦКО

ЛЮДИ НА ВОЙНЕ

ПРАВДИВЫЕ РАССКАЗЫ
ОБ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ

ПЕРЕВОД
Г. А. ЗУККАУ





ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД
1925



Обложка работы Т. БЕЛОЦВЕТОВОЙ

Гиз № 11018.
Ленинградский Гублит № 8875.
9 л. Отп. 4.000 экз.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ПОХОД.

Это происходило поздней осенью, на второй год войны, в саду лазарета небольшого австрийского провинциального городка, который, притаившись у подножья поросших лесом холмов и спрятавшись за ними, как за ширмами, все еще не утратил своего сонного, миролюбивого вида.

День и ночь гудели паровозы, грохотали, спеша на фронт, тяжело нагруженные поезда с распевающими и разукрашенными солдатами, с высоко нагроможденными кипами прессованного сена, дико ревущим убойным скотом и тщательно запертыми мрачными вагонами с боевыми припасами; медленно ползли обратно другие поезда, отмеченные кровавым крестом, которым осенила война их стены и пассажиров. Бешеными скачками проносилось великое безумие по городку, но не могло вывести его из его состояния покоя, какбудто низкие выбеленные домики со старомодными вычурными фасадами безмолвно пришли к разумному соглашению гордо игнорировать этого шумливого, взыскательного гостя, все переворачивавшего вверх дном.

В городском саду дети беззаботно возились с большими ржаво-красными листьями старых каштанов,

женщины болтали у дверей лавок, в каждом переулочке мелькал где-нибудь пестрый головной платок девушки, протиравшей запотевшие оконные стекла. Несмотря на лазаретные флаги, которые развевались почти над каждым домом, несмотря на множество вывесок, надписей и путевых столбов, которыми непрошенный гость заполонил беззащитный городок, казалось, что здесь, на расстоянии менее 50 километров от бойни, отблеск которой в ясные ночи, как театральные огни, вспыхивал на горизонте, все еще царит мир. Когда, на мгновение, прерывался поток тяжелых, пыхтящих грузовиков и скрипящих повозок, не громыхал поезд по железнодорожному мосту и случайно не было слышно сигналов горниста и воинственного бряцания сабель, тогда упрямое захолустье с быстротой молнии выставляло свой добродушно-тупой провинциальный профиль; но с появлением первого же автомобиля генерального штаба, вылетавшего с надменной стремительностью из-за угла улицы, оно испуганно спешило опять укрыться под плохо идущей к нему маской солдатчины.

Правда, вдали жужжали орудия, как-будто где-то глубоко под землей притаился огромный бульдог и злобно ворчал, готовый наброситься на небо. Глухое тявканье больших мортир доносилось сюда, точно сдавленный кашель из комнаты больного, пугающий охраняющих его покой близких, прислушивающихся с заплаканными глазами к каждому вздоху умирающего. Точно так же длинные, низкие ряды домиков трепетали дребезжа и дрожали от ужаса, когда этот кашель сотрясал землю, как-будто боевая страда, точно камень, лежала на груди мира и душила его. Удивленно смотрели улицы друг другу в глаза, сонливо прищуриваясь при свете ночников, которые внутри домов отбрасывали свои весело прыгающие тени

к расставленным тесными рядами кроватям. Пронзительные крики, вопли и жалобные стоны неслись во мрак ночи из этих битком набитых помещений. Каждый человеческий звук, который вырывался из открытых окон, в бешеном порыве налетал на тишину, посылая дикие проклятия войне, которая там, впереди, делала свое дело и, словно мусор, оставляла позади себя растерзанные человеческие тела, наполняла все дома своими кровавыми обрезками.

Но красивые, окаймленные решотками кованого железа фонтаны на площадях продолжали равнодушно журчать, болтали с успокаивающей настойчивостью о днях своей молодости, когда люди уделяли еще время и интерес благородству и красоте линий, а война была развлечением князей и искателей приключений. Из каждого завитка и из каждого уголка струилась сказка, скользила легко и бесшумно, шепча о покое и приволье, точно незримая кумушка по всем закоулочкам, а старые каштаны одобрительно кивали и успокаивающе гладили испуганные фасады домов тенью своих растопыренных пальцев. Так мощно пробивалось прошлое из щелей стен, что всякому, кто находился недалеко от них, казалось, будто журчание фонтана заглушает грохот орудий: больные и раненые, успокоенные, прислушивались со своего разгоряченного ложа к неугомонным ночным звукам; бледные люди, которых несли по улицам городка на слегка покачивающихся носилках, забывали тот ад, из которого они возвращались, и даже нагруженные тяжелой походной аммуницией жертвы, которые, гремя оружием, ночным форсированным маршем проходили мимо, умилялись на короткое время, как-будто они встретились с Миром и со своим собственным невооруженным «я», тут, — в тени колонн и разукрашенных цветами балконов.

С войной происходило то же, что с рекой, которая бурливо и стремительно стекала с северного ската гор, гневно пенясь из-за каждого камешка, преграждавшего ей путь, а на другом конце, у последних домов, все же нежно и трогательно прощалась с городом, совсем укрощенная, тихо плещущая, как бы убаюканная мирными картинами, отражавшимися в ее поверхности. Широко разлилась она по большому полю, огибая гарнизонный госпиталь, который стоял, как бы на островке, под сенью толстых платанов. С трех сторон журчание ленивого потока сливалось с шелестом листьев; казалось, будто сад, когда над ним спускались сумерки, затягивал колыбельную песню для замученных людей, которые лежат там рядами и страдают, подчиненные регламенту до самой смерти, до самой могилы, куда при торжественном треске ружейных салютов зарывали всех этих, сложивших свои несчастные головушки, сапожников, жестяников, батраков и канцеляристов.

Только-что протрубили вечернюю зорю; караул, делая обход, нашел в тени большой аллеи троих отставших и погнал их домой.

— Офицеры вы, что ли? — ворчал, добродушно ругаясь, комендант, коренастый капрал ландштурма с поседевшими висками. — Нижним чинам полагается ложиться спать в девять!

И для того только, чтобы не уронить своего достоинства, он с плохо разыгранной суровостью прикрикнул:

— Ну, пойдете? А не то...

По привычке он едва не произнес полагающуюся в таких случаях угрозу — «ужо, заставлю вас пошевеливать ногами!», но в самый последний момент закусил губы и скорчил такую гримасу, как-будто он чем-то подавился. Ибо те трое, которые покорно

заковыляли к дверям солдатского отделения, наверное, ничего не имели бы против того, чтобы быть в состоянии «пошевелить ногами». Они ползли все трое на двух ногах и шести стучащих костылях. Казалось, будто эту живую картину поставил режиссер, сильно озабоченный соблюдением симметрии: справа шел один, у которого осталась только одна правая нога, а слева его товарищ по несчастью подпрыгивал на одной левой ноге; в середине же качался на двух высоких костылях жалкий обрубок человеческого тела с пустыми брюками, заколотыми накрест на груди, такой короткий, что весь этот человек свободно уместился бы в детской колыбели.

Опустив голову и стиснув кулаки, как-будто пришибленный тяжелым зрелищем, капрал проводил глазами этих инвалидов, пробормотал проклятие, которое звучало не особенно патриотично, и, шипя сквозь передние зубы, плюнул, описав большую дугу. Когда он повернулся, чтобы уйти, с другого конца сада, со стороны офицерского флигеля, до его ушей донесся звонкий смех. Он остановился как вкопанный, наклонил голову, как-будто его ударили по затылку, и на широком, добродушном крестьянском лице его промелькнуло выражение безграничной ненависти. Он плюнул еще раз, чтобы успокоиться, собрался с духом и, вытянувшись в струнку и отдавая честь, быстро прошел мимо веселой компании.

Господа офицеры небрежно ответили. Они сидели перед домом на четырех сдвинутых в виде четырехугольника скамьях, зараженные той беззаботностью, которая, как облако, витала над всем городком, беседовали о войне и смеялись, как довольные школьники, которые весело болтают о пережитых перед экзаменами волнениях. Каждый исполнил свой долг, получил свое и находился теперь здесь под защитой

своей раны, в безмятежном ожидании отпуска, свидания с родными, чествований и, по крайней мере, двух недель жизни на положении незанумерованного человека.

Громче всех смеялся молодой лейтенант, которого прозвали «мусульманин» за его магометанский головной убор, присвоенный ему как офицеру боснийского полка. Стаканом разорвавшейся на земле шрапнели ему сломало левую ногу, и при том так основательно, что она уже несколько недель лежала в лубках и в гипсе, тщательно оберегаемая своим владельцем, который, опираясь на костыли, тащил ее за собой, точно чужую, доверенную ему, драгоценность.

На скамье против «мусульманина» сидели два офицера: ротмистр — единственный невредимый человек во всей компании, со шпагой в правой руке, и артиллерист, в довоенное время — приват-доцент философии, «философ», как его называли, с уже зажившей рассеченной осколком снаряда верхней губой. Эти трое и вели разговор с двумя дамами, сидевшими на скамье у самой стены; четвертый же, лейтенант ландштурма, с лысиной на затылке, до войны известный оперный композитор, сидел на своей скамье в глубокой задумчивости, с нервно вздрагивающими конечностями и с беспокойно-блуждающими глазами, и не принимал участия в общем разговоре. Его привезли только неделю тому назад с сильным нервным потрясением, которое он получил на плоскогории Добердо. На его лице еще лежала печать ужаса. Погрузившись в мрачные думы, он был равнодушен ко всему окружающему, лежал в постели или сидел в саду, словно отделенный от других невидимой стеной, в которую он тупо уставился глазами. Даже неожиданный приезд его хорошенькой, белокурой жены не мог ни на минуту отогнать картину тех пережитых им кош-

маров, которые вывели его из состояния равновесия. Прислонив подбородок к груди, он не обращал никакого внимания на ласковый шопот своей жены и каждый раз, когда она с бесконечной любовью боязливо пыталась прикоснуться своими нежными пальцами к его дрожащим рукам, он, точно терзаемый болью или охваченный судорогами, резко отодвигался в сторону.

Крупные слезы катились по щекам изголодавшейся по ласке маленькой женщины, которая так храбро пробилась через все заградительные зоны до этого госпиталя, расположенного в районе военных действий, а теперь, после радостной встречи с мужем, которого она нашла живым и неискалеченным, вдруг натолкнулась на какое-то непонятное сопротивление, последнее непредвиденное препятствие, которое она уже не в силах была устранить ни мольбами, ни слезами и которое безжалостно отделяло ее от любимого существа. В мучительной беспомощности сидела она, вся насторожившись, рядом с ним и ломала себе голову над объяснением той враждебности, которая исходила от него. Ее глаза прорезывали темноту, а ее руки передвигались все в том же направлении, робко нащупывая свой путь и, словно обожженные, отдергивались назад, когда его неприязненное увиливание вновь повергало ее в глубокое отчаяние.

Тяжело было так скрывать свое горе, не быть в состоянии с громким упреком вырвать у своего мужа ту тайну, которой он в своем несчастье все еще упрямо не желал поведать ей, своей единственной опоре. Так же тяжело было с напускной радостью по поводу «счастливой встречи» терпеливо принимать участие в игривой беседе, которая сопровождалась неугомонным хихиканьем другой дамы. Да, той было легко на душе! Она знала, что ее муж удачно при-

строился к штабу главнокомандующего в тылу, и, скучая в своем бездетном доме, она сбежала сюда, чтобы приобщиться к богатой событиями жизни военного госпиталя. С семи часов вечера сидела она тут, готовая к отъезду, в шляпе и жакетке, но, уступая беспрерывным просьбам остаться, продолжала весело шутить, как-будто она уже позабыла о тех страданиях, которых она за день насмотрелась в доме, к стене которого она прислонилась спиной. Грустная маленькая женщина облегченно вздохнула, когда стало настолько темно, что она могла незаметно отодвинуться от легкомысленной болтушки.

И все же эта майорша, несмотря на вызывающее кокетство и самодовольный вид, с каким она рассказывала о своих «сестринских обязанностях», была проникнута каким-то чувством, которое, помимо ее ведома, сильно возвышало ее. Та мощная волна материнства, которая нахлынула на всех женщин, когда для мужчин пробил роковой час, захватила и ее. Этих трех мужчин, в кругу которых она теперь так беззаботно болтала, она, как и тысячи других, видела залитыми кровью, беспомощными, стонущими от боли; и чувство радости, похожее на гордость наседки, цыплята которой уже оперились, сквозило в ее кокетстве. С тех пор, как мужчины, скрючившись, ползая, голодая из месяца в месяц, вынашивают свою собственную смерть, точно женщины своих детей, с тех пор, как терпение, ожидание и безропотное примирение с опасностью и страданиями переменили качества пола, женщины чувствуют себя сильными, и даже в их похотливости тлеет еще искра нового материнского чувства.

Печальная белокурая дама, только-что приехавшая из тех мест, где о войне знают лишь по наслышке, всецело поглощенная мыслями о своем муже, страдала от той бесполой интимности, которая господствовала

здесь, под сенью смерти и мучений, во все более погружавшемся во мрак саду госпиталя. Остальные же чувствовали себя на войне как дома, говорили ее собственным языком, в котором отчаянная жажда жизни, парадоксальная кротость мужчин, выросшая на почве пресыщения жестокостями, перемешалась с изумительным болтливым хладнокровием женщин, так много наслышавшихся о смерти и крови, что их вечное любопытство звучало как бездушие и истерическая жестокость.

«Мусульманин» и ротмистр подтрунивали над «философом», пренебрежительно насмехались над краснобаями, мечтателями и тому подобными бездельниками и, как дети, радовались, наблюдая его смущение перед майоршей, которая из приличия считала своим долгом поддерживать беззащитное добродушие философа, в то время как ее глаза с горячим сочувствием поглядывали на тех двух других, которые за словом в карман не лезли.

— Оставьте же, наконец, в покое бедного господина поручика! — воскликнула она, пронзительно смеясь. — Он прав, война отвратительна. Эти оба ведь только трунят над вами, — подмигнула она философу.

Философ флегматично ухмылялся и молчал. Мусульманин, слегка заскрежетав зубами, придал своей ноге, которая была единственным светлым пятном на фоне темной ночи, более удобное положение на скамье и громко рассмеялся:

— Философ? Да что он, вообще, понимает в войне? Ведь он артиллерист. А войну ведет только пехота. Знаете что, сударыня...

— Меня зовут здесь «сестра Энгельберта», — прервала она его, и лицо ее стало на одно мгновение почти строгим.

— Простите, сестра Энгельберта! Артиллерия и пехота, это, как муж и жена. Мы, пехотинцы, должны произвести ребенка на свет, когда должна родиться победа. Артиллерия же имеет удовольствие, как мужчина в семейной жизни, подъехать с важным видом, когда ребенка уже окрестили. Ну, разве я не прав, господин ротмистр? Ведь ты теперь тоже пеший кавалерист.

Ротмистр зычно расхохотался. Согласно его упрощенному мировоззрению, депутаты, которые не отпускают достаточно денег на содержание войска, социалисты, пацифисты, словом, все, которые говорят, пишут, тратят много лишних слов и «вообще мудрят», относятся к той же категории «книжников» как и философ.

— Да, да, — сказал он своим надорванным голосом, — для артиллерии такой философ как раз подходит. Торчать себе на горе и глазеть сверху, больше им и дела нет. И хорошо еще, если они не бьют по своим же. С теми шелопаями на фронте мы легко справлялись, а вас, коварных убийц за спиной, я всегда смертельно боялся. Но бросьте же толковать о войне, а то я пойду спать. Сидим мы тут, в кои-веки, с двумя прелестными дамами, видим, наконец, после долгого перерыва не обросшее щетиной лицо, а вы все еще болтаете об идиотской пальбе. Господи, когда в санитарном поезде ко мне подошла первая белокурая девушка в белой косынке на голове, мне так захотелось взять ее за руку и все время пристально смотреть на нее! Честное слово, сударыня, перестрелка, в конце концов, пустяк, к насекомым привыкнуть труднее, но хуже всего то, что совсем нет женщин. Пять месяцев под ряд видеть одних только мужчин,—и потом вдруг опять услышать такой звонкий, славный женский голосок!.. Это все-таки самое замечательное! Из-за этого уже стоит побывать на войне.

Мусульманин, скривив в гримасу свое подвижное, сияющее молодостью лицо, возразил:

— Самое лучшее?.. Нет, господин ротмистр, если быть откровенным, то самое лучшее.... это когда тебя выкупают, наново перевяжут и положат в свежую чистую постель, и когда знаешь, что тебе обеспечен покой на несколько недель.... Вот это такое чувство, как... Да это, вообще, ни с чем несравнимо. Но видеть опять милых дам, это тоже очень приятно.

Философ склонил свою круглую, мясистую эпикурейскую голову на-бок; его маленькие, хитрые глаза сияли влажным блеском. Он посмотрел туда, где по светлому пятну в непроницаемой темноте можно было с трудом распознать белое платье жены майора, и начал, слегка певучим голосом, совсем медленно говорить:

— Я нахожу, что самое лучше на свете, это — тишина. Когда приходится лежать наверху, в горах, где каждый выстрел перекатывается туда и обратно пять раз, — и потом вдруг становится совсем тихо, не слышно ни свиста, ни воя, ни грохота, — ничего, кроме чудной тишины, которой внимаешь, как музыке. Я первые ночи совершенно не спал, а сидел и жадно прислушивался к этой тишине как к мелодии, которую хочется уловить издалека. Кажется, я даже немного всплакнул, так приятно было ощущение абсолютного безмолвия.

Ротмистр швырнул свою папиросу так, что она, как комета, сверкнула в темноте ночи, и хлопнул себя со всего размаха по колену.

— Ну вот, сударыня, — воскликнул он насмешливо, — поняли ли вы это?.. «Жадно прислушиваться к тишине!» Видите ли, это называют философией. Но послушай-ка, ты там, я знаю еще нечто лучшее! А именно не слушать того, что слышно. В особенности, когда мелют такую философскую чепуху.

Все рассмеялись; и тот, кого дразнили, тоже добродушно улыбался. И он был насквозь пропитан той безмятежностью, которая неслась сюда, в этот увядающий сад, из спящего города, и колкие насмешки ротмистра не задевали его, как, вообще, ничто не могло взволновать его и уменьшить сладость тех немногих дней, которые еще отделяли его от возвращения на фронт. Он хотел вдоволь насладиться своим временем, спокойно, с закрытыми глазами, как ребенок, которого собираются запереть в темной комнате.

Жена майора нагнулась вперед:

— Итак, о том, что самое лучшее, мнения расходятся, — сказала она и, учащенно дыша, волнуясь, добавила: — но что же было самое ужасное, что вы там пережили? Многие говорят, что самое ужасное, это — ураганный огонь; другие же не могут отделаться от впечатления, которое произвел на них первый убитый. А вы?

Философ, к которому был обращен этой вопрос, сделал страдальческое лицо. Эта тема совсем не входила в его программу. Он все еще подыскивал уклончивый ответ, когда неясный, сдавленный возглас привлек всеобщее внимание в ту сторону, где сидели офицер ландштурма и его жена. Про них уже почти позабыли в темноте, и все обменялись испуганными взглядами, когда этот развинченный человек с потухшими глазами, этот сломанный манекен, голос которого вряд ли кто-либо знал, вдруг быстро заговорил высоким фальцетом:

— Что ужасно? Ужасно лишь выступление в поход. Идешь — и то, что тебя отпускают, это всего ужаснее!

Холодное, гнетущее молчание последовало за его словами; даже вечно веселое лицо мусульманина окаменело в тревожном смущении. Это было так неожиданно, звучало так непонятно и все-таки, может-быть,

вследствие дрожания голоса, вырывавшегося из трясущегося тела, или потому, что гортанный тембр этого голоса походил на надорванное рыдание, — потрясло всех и заставило усиленно биться их пульс.

Жена майора вскочила. Она видела, как привезли этого мужчину, привязанного к носилкам, потому что судороги так высоко подбрасывали его, что санитары иначе не могли бы с ним справиться. Что-то невыразимо кошмарное — так рассказывали — почти лишило рассудка этого несчастного, и жену майора всю передернуло от страха, что с ним и сейчас случится припадок бешенства. Она ущипнула ротмистра за руку и закричала с деланной поспешностью:

— Боже мой! Вот уже звонит последний трамвай! Скорее, скорее, сударыня, нам надо бежать!

Все встали; жена майора уцепилась за руку бедной маленькой женщины и торопила ее:

— Нам придется итти целый час пешком в город, если мы прозеваем трамвай.

Недоумевая и дрожа всем телом, маленькая женщина нагнулась к своему мужу, чтобы проститься с ним. Она ясно чувствовала, что его возглас относился к ней; что в нем заключался ядовитый, смертельный упрек, которого она не понимала.

Она почувствовала, что ее муж отодвинулся, весь съежился при прикосновении ее губ, и тяжело вздохнула при страшной мысли о бесконечной ночи, которую ей предстояло провести в холодной, запущенной комнате гостиницы, одной с этим мучительным сомнением. Но жена майора тащила ее за собой, заставляла бежать и отпустила лишь тогда, когда они, миновав караул у ворот, вышли на улицу.

Мужчины смотрели им вслед, видели, как их фигуры еще раз вынырнули при свете уличного фонаря, прислушивались к жужжанию трамвая. Мусуль-

мапин взялся за свои костыли, многозначительно подмигнул философу и, зевая, заговорил о том, что пора итти спать. Ротмистр с любопытством посмотрел на больного и, чувствуя к нему жалость, захотел обрадовать беднягу. Он дружески хлопнул его по плечу и сказал со свойственной ему развязностью:

— А славная у тебя женка. Одобряю!

И в ту же минуту он испуганно отскочил. Несчастная, жалкая, скрюченная человеческая фигура на скамье вдруг подпрыгнула, словно подброшенная внезапно проснувшейся силой.

— Славная жена? Да, да, стойкая энергичная женщина! — закричал он, брызжа слюной, с такой злостью, как будто слова кипели в нем и сами срывались с его дрожащих губ. — Не пролила ни слезинки при посадке в вагон. Все наши дамы были очаровательны, когда мы выступали в поход. И жена бедного Дилля тоже... Ух, каким молодцом была она! Бросала ему в вагон розы, а была всего лишь два месяца его женой. — Он язвительно хихикнул и сжал кулаки, борясь с рыданиями, которые подступали к его горлу.

— Розы, ха-ха, и кричала «до-свиданья». Так патриотичны были все они! Наш полковник поздравлял Дилля с тем, что его жена так стойко вела себя, когда нас отправляли. Так стойко, понимаешь ты, как-будто мы уезжали на маневры.

Качаясь на своих широко расставленных ногах, поручик выпрямился, опираясь на руку ротмистра, и с тревожным ожиданием уставился на него своими беспокойными глазами.

— Знаешь, что с ним случилось, с Диллем? Я был при этом. Знаешь, что?

Ротмистр беспомощно смотрел на остальных.

— Брось, пойдем спать! Не волнуйся! — смущенно проговорил он.

С торжествующим ревом больной, прервал его крича благим матом:

— Не знаешь, что случилось с Диллем? Не знаешь? Мы стояли с ним так же, как сейчас с тобой, и он хотел показать мне новую фотографию своей жены, которую она ему прислала. Его храбрая жена, ха-ха-ха, его стойкая жена! Ведь стойкостью отличались они все, были готовы ко всему! И когда мы так стояли с ним, бац! — разорвалась двадцативосьмидюймовка, совсем далеко от нас, по крайней мере, за двести шагов, мы даже не взглянули туда. Вдруг я вижу, летит что-то черное, и Дилль падает навзничь с фотографией своей славной жены в руке, — а у него в голове торчит не то сапог, не то нога, не то сапог с ногой какого-то обозного солдата, которого двадцативосьмидюймовка искромсала на части, совсем далеко от нас.

Он на минуту остановился и торжествующе посмотрел на ротмистра. Потом он снова заговорил с какой-то озлобленной гордостью в голосе, время от времени прерывая свой рассказ странными, сдавленными стонами.

— И больше он ничего не сказал, наш бедный Дилль, со шпорой в черепе, с самой настоящей солдатской шпорой, величиной с монету в пять крон. Он только выпучил глаза и печально взглянул на портрет своей жены, которая могла это допустить. Такой случай! Такой случай, мой милый! Вчетвером пришлось нам вытаскивать сапог, вчетвером! Нам пришлось вертеть его так и сяк, слышишь? Пока мы не вытащили шпору вместе с куском его мозга — точно вырванные корни, точно серый, приставший к шпоре полип.

— Да ну, замолчи же! — сердито крикнул ротмистр, вырвался из его рук и, громко ругаясь, напра-

вился к дому. Оба другие с завистью смотрели ему вслед. Не могли же они оставить несчастного одного. Едва только ротмистр выдернул свою руку, как он в изнеможении опустился на скамью, и, прислонившись головой к спинке, завизжал, как наказанный ребенок. Только когда философ слегка дотронулся до его плеча и сделал попытку ласково уговорить его подняться, он снова забормотал и разразился лающим, омерзительным смехом.

— Но мы из него вытащили его храбрую жену. Мы тащили ее вчетвером, пока мы не извлекли ее на свет божий. Я его освободил! Вон, прочь! нет ее! Всех их нет! И моей тоже нет. Мою тоже вытащили. Всех вытащат. Больше не останется жен! Ни одной, ни...

Он низко наклонил голову; по невыразимо печальному лицу его медленно текли слезы.

За его спиной вновь вынырнул ротмистр, которого сопровождал небольшого роста младший врач, дежуривший в эту ночь.

— Тебе пора ложиться спать, господин поручик, — забасил доктор с деловитой строгостью.

Больной откинул назад голову и бессмысленно уставился на незнакомое лицо. Когда врач повторил свою фразу, возвысив голос, его глаза вдруг заблестели, и он утвердительно кивнул головой.

— Надо итти, конечно! — решительно заявил он и тяжело вздохнул. — Нам всем надо итти. Кто не идет, тот трус, а трусов они не хотят. В этом-то все дело. Разве ты не понимаешь? Теперь герои в моде. Храбрая госпожа Дилль вдобавок к своей новой шляпке захотела иметь героя, ха-ха-ха! Поэтому бедному Диллю пришлось выпустить на поле сражения свой мозг. И мне тоже, и тебе! Ты должен итти умирать, должен итти, чтобы тебя раздавили, разда-

вили твой мозг. А женщины смотрят на это хладнокровно, потому что теперь такая мода.

Он с трудом выпрямил свое истерзанное тело, опираясь на спинку скамьи, и поочередно посмотрел всем стоящим вокруг него вопрошающе в глаза, ожидая сочувствия.

— Разве это не печально? — тихо спросил он. Потом вдруг с нарастающей силой в голосе, охваченный внезапной яростью, он дико закричал, так что крик его жутко разнесся по саду:

— Разве это не обман? Не обман? Разве я был ножовщик? Хулиган? Разве я ей не нравился за роялем? Нежными и внимательными мы должны были быть! Деликатными! И вдруг, потому что мода изменилась, они хотят убийц. Понимаешь ты это?

Отстранившись от доктора, он опять стоял, пошатываясь, и его сдавленный голос становился мало-помалу все грустнее и печальнее и походил на бессвязное бормотанье пьяного.

— Моя — тоже была молодцом, разумеется. Ни слезинки. Я ждал, все ждал, когда она начнет кричать, когда она, наконец, начнет просить меня вылезть из вагона, не уезжать, быть трусом, ради нее! Но у них не было смелости, ни у одной не хватило смелости; только бодрыми хотелось им быть. И моей тоже! И моей тоже! Махала платком, как и другие.

Его дрожащие руки извивались кверху, словно он хотел призвать небо в свидетели.

— Что было самое страшное, хочется тебе знать? — простонал он тихо, опять обращаясь непосредственно к философу, — разочарование, — вот что было самое ужасное, выступление в поход. Не война! Война — такая, какою она должна быть. Тебя удивило, что она жестока? Только выступление было неожиданностью. То, что женщины бессердечны, — вот что было

неожиданностью! Что они могут улыбаться и бросать розы. Что они отдают своих мужей, отдают своих детей, своих мальчиков, которых они тысячи раз укладывали в постельки, тысячи раз покрывали ласками, которые составляют часть их самих, — вот что было неожиданностью! Что они нас отдали — что они нас послали, послали! Потому что каждой из них было бы как-то неловко не иметь героя; это-то и было страшное разочарование, дорогой мой. Или ты думаешь, что мы пошли бы, если бы они нас не послали? Думаешь? Так спроси же самого глупого крестьянского парня тут на фронте, почему ему хочется получить медаль, раньше чем уехать в отпуск. Потому что тогда его возлюбленная будет его больше любить, потому что тогда женщины будут бегать за ним, потому что он со своей медалью сможет отбить женщин у других из-под самого носа; вот почему, и только потому, женщины нас послали! Ни один генерал не мог бы ничего поделать, если бы женщины не допустили, чтобы нами набивали поезда, если бы они кричали, что они больше не захотят на нас глядеть, когда мы станем убийцами. Никто не пошел бы, если бы они поклялись, что ни одна из них не ляжет в постель с таким мужчиною, который рубил черепа, стрелял в людей, закалывал людей. Ни один, говорю я вам! Я ведь не хотел верить, что они смогут это выдержать! Они притворяются, думал я, они еще сдерживаются, но как только раздастся свисток, они закричат, вырвут нас из поезда, спасут нас. Один только единственный раз они могли нас защитить, но они пожелали быть только бодрыми! Во всем мире — только бодрыми.

Как разбитый сидел он опять на скамье, тихо, горестно всхлипывая и уронив голову на тяжело дышавшую грудь.

За его спиной собрался целый кружок. Старый капрал ландштурма стоял тоже там, рядом с врачом и четырьмя караульными, готовыми каждую минуту вмешаться в дело. В офицерском флигеле все окна осветились, фигуры в одном белье высунулись из окон и с любопытством смотрели на то, что происходит в саду.

Больной боязливо взглянул на все эти незнакомые, безучастные лица. Он был обессилен; охрипшее горло не издавало больше ни одного звука. Его рука, ища поддержки, ухватилась за философа, который, потрясенный, стоял рядом с ним.

Врач воспользовался благоприятным моментом.

— Пойдем, господин поручик, пойдем спать, — сказал он с явно подчеркнутым добродушием, — женщины все таковы, тут уж ничего не поделаешь!

Он хотел сказать еще что-то, чтобы, разговаривая, незаметно заманить больного в дом, но уже следующая фраза от неожиданности застряла у него в горле. Бессильный, болтающийся скелет, который только-что, как куклу, выпрямили доктор и философ, вдруг быстро вскочил и взмахнул руками так, что оба, хотевшие его удержать, отлетели в круг обступивших их зрителей, еле устояв на ногах. Он нагнулся, покачиваясь в коленях, как носильщик с тяжелой ношей на спине, и, скрючившись, повторил, захлебываясь от злости, слова доктора:

— Все таковы?.. — Все таковы?.. С каких же пор, ха-ха-ха? Разве ты ничего не слыхал о суффражистках, которые били министров по щекам, поджигали музеи и давали привязывать себя к фонарным столбам за право голосования? За право голосования, слышишь ты? А за своих мужей — нет? Ни единого звука, ни единого крика!

Он остановился на мгновение, чтобы перевести дух, борясь с душившим его безумным отчаянием.

Потом еще раз собрался с силами и, с трудом подавляя рыдания, которые снова подступили к его горлу, закричал, как затравленный зверь неистовым голосом:

— Слыхал ли ты хоть когда-нибудь, чтобы женщина бросилась под поезд ради своего мужа? Дала ли хоть одна из них ради нас оплеуху министру? Привязала ли себя к рельсам? Ни одну не пришлось отрывать от рельс, ни одна не боролась за нас, ни одна за нас не заступилась. Ни одна не пошевельнулась ради нас, во всем мире. Выгнали они нас Заткнули нам рты! Пришпорили нас, как бедного Дилля. Послали нас на убийство, послали нас на смерть ради собственного тщеславия. И ты хочешь их защищать? Вырвать их надо! Вырвать с корнем, как сорную траву. Вчетвером вы должны тащить, как из Дилля. Вчетвером, тогда она выйдет. А ты — доктор? Так вскрой мне голову. Не хочу я жены. Вытащи, вытащи ее...

Широко размахнувшись, он ударил кулаком, как молотом, по своей голове, и его скрюченные пальцы безжалостно вцепились в его редкие волосы на затылке; взвыв от боли, он вырвал целый клок и торжествующе поднял его вверх.

В этот момент, по знаку доктора, четверо караульных набросились на него. Он кричал, скрежетал зубами, бился, вырывался, сбрасывал их с себя, как репейник; даже старому капралу и доктору пришлось помогать, тащить его в дом.

Сад быстро опустел. Последним проковылял к выходу мусульманин в сопровождении философа. Перед подъездом он остановился и серьезно посмотрел при свете фонаря на свою забинтованную ногу, которая безжизненно болталась между костылями.

— Знаешь, философ, если так, то мне уж приятнее мой обрубок. Свихнуться, как этот бедняга, это самое

ужасное, что может случиться с нами на войне. Тогда уж лучше сразу лишиться всей головы. Или ты думаешь, что он еще когда-нибудь поправится?

Философ молчал. Его круглое, добродушное лицо побледнело; глаза были полны слез. Он пожал плечами и молча помог другому подняться по лестнице. Когда они вошли в коридор, они слышали, что где-то в доме хлопнули дверьми и раздался последний, заглушенный крик.

Потом все затихло. Лампы в офицерском флигеле одна за другой погасли, и скоро весь сад, точно космастый, черный остров, прижался к реке, которая, бесшумно извиваясь, протекала мимо. Только иногда, при порывах ветра, доносилось с запада громыхание орудий как далекое эхо.

Еще раз захрустел песок, когда патруль, пересекая сад, возвращался в караульное помещение. Один солдат тихо выругался и перевязал свою разорванную блузу. Другие тяжело дышали и вытирали руками пот со своих разгоряченных лбов. За ними шел старый капрал ландштурма с опущенной головой, прижимая трубку во рту. Когда он свернул на главную аллею, яркий огненный отблеск вспыхнул на небе, и продолжительное громыханье, которое, наконец, урча, забилось в землю, заставило звенеть все окна.

Старик остановился, насторожившись. Когда смолкло грохотанье, он угрожающе поднял кулак, шипя сквозь зубы, плюнул и проворчал с отвращением, которое шло из самой глубины души:

— Тьфу, чорт!

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ.

С полчаса рота отдыхала на опушке леса; но вот капитан Маршнер отдал приказ выступать. Он был совсем бледен, несмотря на убийственную жару, и глядел в сторону, когда отдавал подпоручику Вейкслеру приказ позаботиться, чтобы в десять минут все до последнего человека были готовы к походу.

Собственно говоря, он сам себя застал врасплох этим приказом. Ибо теперь, он это твердо знал, больше не могло уже быть речи об отсрочке. Когда он поручал Вейкслеру навести порядок среди солдат, все шло, как по маслу; люди дрожали перед этим двадцатилетним юношей, как-будто он был не человек, а чорт. Иногда и самому капитану казалось, что в этой долговязой, костлявой фигуре есть действительно что-то, наводящее ужас. Никогда не вспыхивало ни одной искорки сердечности в этих маленьких, колючих глазах, постоянно отражавших какое-то тревожное беспокойство и всегда блестевших словно в лихорадке. Ничто не было молодо во всем этом человеке, кроме коротеньких, реденьких усов над стиснутыми губами, которые открывались только для того, чтобы с хамской жестокостью потребовать наказания для какого-нибудь солдата. Уже около года

состоял он при капитане Маршнере, и тот еще никогда не слыхал, чтобы Вейкслер смеялся; ничего еще не знал об его семье, ни откуда он, ни о том, есть ли у него, вообще, близкие. Он говорил очень редко, короткими, отрывистыми фразами, которые он выдавливал из себя с каким-то шипением. Словно клокотание затаенной злости, которая кипела в нем, звучало все, что он говорил и что относилось лишь к службе и войне, будто кроме этих двух вещей на свете ничего больше не существовало, о чем стоило бы говорить.

И вот с этим-то человеком судьба сыграла злую шутку, продержав его в тылу весь первый год войны! Уже одиннадцать с половиной месяцев продолжалась война, а подпоручик Вейкслер все еще не видал неприятеля. Только в самом начале войны он побывал за русской границей, но свалился от тифа, не успев сделать ни одного выстрела. Теперь, наконец-то, он добрался до неприятеля! Капитан Маршнер знал, что он приказал держать для себя наготове солдатское ружье и все свои сбережения потратил на покупку зрительной трубки с дальномером, чтобы бить наверняка и точно знать, сколько врагов он отправил на тот свет. С тех пор, как стрельба стала раздаваться поблизости, он стал почти веселым, разговорчивым, нервно возбужденным, как охотник, который напал на след зверя. Капитан видел его снующим в толкотне то тут, то там, и отвернулся. Ему не хотелось созерцать, как этот тип подгонял своих несчастных, смертельно уставших людей и набрасывался на них, совсем как тявкающая овчарка, которая сгоняет стадо. Гораздо раньше, чем пройдет десять минут, рота будет поставлена на ноги, об этом позаботится нетерпеливый Вейкслер; а потом, — потом уже не будет причины медлить. Не будет больше никакой возможности оттянуть тяжелое решение!

Капитан Маршнер глубоко вздохнул и посмотрел на небо странно напряженными, широко раскрытыми глазами. Там впереди, по ту сторону крутого холма, который еще загораживал вид на поле сражения, без передышки трещали незримые пулеметы; а немного выше края откоса в воздухе носились маленькие желтовато-белые клубы дыма, точно подброшенные вверх комья снега: это были облачка от взрывов заградительного огня, через который он должен был повести свою роту.

Это был путь не маленький! Целых два километра от противоположной стороны подножия холма до входа в окопы; и все время по голому полю, без малейшего прикрытия. Для роты ландштурма, для почтенных отцов семейств, которые всего только несколько часов тому назад прибыли на фронт, получить теперь боевое крещение и впервые понюхать пороха — совсем не легкая задача! Вот для такого как Вейкслер, у которого не было в голове ничего иного, кроме мечты как можно скорее заслужить боевой орден — для такого двадцатилетнего драчуна, считавшего, что весь мир вертится вокруг его собственной, очень важной персоны, и не имевшего еще времени научиться ценить жизнь, это выступление могло представиться лишь увеселительной прогулкой, интересным делом, где он мог проявить себя и показать в должном свете свою неустрашимость. А втихомолку он наверно давно уже смеялся над нерешительностью своего старого капитана и проклинал эту последнюю передышку, из-за которой он вынужден был отложить еще на полчаса совершение своего первого геройского подвига.

Маршнер сбивал своим хлыстом длинные стебли травы и время от времени украдкой поглядывал на свою роту. Он заметил по медленным, вялым движениям солдат и по неохоте, с какой они поднима-

лись, как дети, которых только-что разбудили, что они давно уже поняли, куда их поведут. В безмолвной тишине собирали они свои пожитки и становились в ряды, и эта мертвая тишина щемила ему сердце.

С самого начала войны он неутомимо готовился к этому моменту, думал день и ночь, тысячу раз твердил себе, что там, где поставлено на карту нечто высшее, страдания отдельных людей отступают на задний план и что добросовестный начальник должен вооружиться равнодушием. И вот теперь он стоял тут, — и с ужасом чувствовал, как все его добрые намерения мало-по-малу улетучивались и ничего не оставалось в нем, кроме горячей, безграничной жалости к этим встревоженным домоседам, которые так покорно готовились к смерти, словно они брали в руки свою собственную жизнь, как драгоценный сосуд, чтобы понести его в бой и бросить под ноги врагу, как будто то, что там разбивалось вдребезги, не имело для них никакого значения.

Отдать под нож кролика, которого он сам выкормил, или собственноручно снести любимую собаку к живодеру, — всякий знал, что даже на такие вещи не был способен мягкосердечный «дядя Маршнер», как называли его в кругу знакомых. А теперь он должен был тех людей, которых он сам обучал военному делу, месяцами видел перед собою и знал как свои пять пальцев, погнать под шрапнельный огонь! К чему тут все глубокомысленные рассуждения? Он видел только робкие, умоляющие взгляды, которые направляли на него солдаты, прося о защите, как будто они думали, что их господин капитан может предписать путь пулям и снарядам. И это доверие он должен был теперь обмануть; должен был без всякой жалости гнать навстречу смерти этих бородатых детей, которых он еще только третьего дня

видел окруженными малышами и прощающимися с заплаканными женами; должен был равнодушно итти дальше, не обращая внимания на то, как тот или другой упадет раненый и будет жалобно стонать, плавая в собственной крови! Где мог он почерпнуть силу воли для такой жестокости? Быть может, в «высшей» цели войны? Но ее не было. Во всяком случае, она была неосязаема, была только пустым звуком и не могла заслонить его солдат, всеми помыслами стремившихся домой и в то же время с трепетом готовившихся вступить в полосу заградительного огня!

Как удар по голове, подействовало на него донесение подпоручика Вейкслера, которое тот с сияющим видом, с порозовевшими щеками, прокричал ему прямо в лицо. Это звучало так вызывающе! Дерзкий вопрос: «Ну-с, почему же ты не радуешься опасности, как я?» — слышался в его словах. Вся кровь стала приливать капитану Маршнеру к вискам; он отвел свой взгляд в сторону, и его глаза невольно устремились к шрапнельным облачкам с тайной просьбой к этим глупым, без разбора бьющим штучкам, чтобы они научили этого бессердечного парня, что значит страдать, и убедили его в его уязвимости.

В следующую секунду он уже стыдливо опустил свою голову. Его злоба к человеку, пробудившему в нем такие мысли, возрасла.

— Хорошо! Скомандуй «вольно»; я должен еще раз осмотреть лошадей, — сказал он с напускным равнодушием, которое успокоило его.

Он не хотел, чтобы его подгоняли, а теперь тем более, и обрадовался, когда увидел, что подпоручика всего передернуло.

— «Слушаюсь, господин капитан!» — отчеканил тот в ответ совсем не так бойко и звонко, а вернее

со скрежетом зубовным. Надо же было юнцу тоже когда-нибудь испытать и почувствовать, каково бывает когда тебя укрощают! Слишком любил он упиваться своей властью над солдатами, торжествующе приписывая ее действие своей выдающейся личности, а не воинскому уставу, всегда находившемуся в его распоряжении.

Медленными шагами возвращался капитан Маршнер в лес, вдвойне довольный тем, что благодаря уроку, который он дал Вейкслеру, его взрослые ребята получили хоть маленькую отсрочку. Может-быть, как раз перед самым их носом ударилась бы в землю граната, и эти несколько минут спасли жизнь двадцати человекам. Может-быть?.. Однако, могло случиться и как раз наоборот: в эти самые минуты... Ах, к чему такие вычисления! Лучше всего об этом совсем не думать! Он будет помогать своим людям сколько возможно; спасти же он никого не может.

Или все-таки может?.. Вот того унтера, который стремительно бросился ему навстречу из леса, он пока что пристроил, оставив его с шестью солдатами при лошадях и при обозе в тылу. Было ли справедливо назначить как раз этого? Ведь все другие унтер-офицеры были старше его и женаты, а у маленького, толстого, с кривыми ногами было даже шестеро детей. Мог ли он ответить перед своей совестью, что оставил здесь в безопасности этого молодого, холостого парня...

Гневным движением руки капитан прервал свои размышления. Всего охотнее он схватил бы себя за шиворот и задал бы сам себе хорошую встряску. Как это он все еще не отучил себя от этой проклятой привычки копаться в своей душе! Разве здесь существовала какая-нибудь справедливость, здесь, в царстве снарядов, которые щадят негодяев и поражают луч-

ших людей? Разве он не принял твердое решение оставить дома свою совесть, свою чуткость и свое вечно живое сострадание к людям, запереть все это вместе со всеми лишними мыслями там, где хранилось, пересыпанное нафталином, его статское платье? Все это подобало гражданскому инженеру Рудольфу Маршнеру, который когда-то раньше был офицером, а к тридцати годам снова взялся за ученье, желая переменить военное ремесло, за которое он взялся, будучи еще совсем мальчишкой, на другое занятие, более соответствовавшее его мягкой, впечатлительной натуре. Что теперь, через двадцать лет, эта война сделала его еще раз военным — это было несчастьем, катастрофой, которая незаслуженно обрушилась на него, как и на всех других, и с которой он должен был, в конце концов, примириться. А для этого, прежде всего надо было перестать рассуждать! К чему так мучить себя всякими вопросами? Ведь должен же кто-нибудь остаться в лесу, для надзора за лошадьми? Командир назначил этого молодого отделенного; он и остался. Вот и весь разговор!

Неприятно было только, что этот парень скорчил такую растроганную мину. Противна, прямо-таки противна была его собачья благодарность, которая таким влажным блеском светилась в его глазах. И как это его дернуло пролепетать что-то о своей матери? Оставляли его тут потому, что этого требовала служба; его мать не имела к этому никакого отношения: она в Вене, — а здесь война. И пусть он это себе зарубит на носу: его командир вовсе не желает, чтобы он считал счастьем, или особенной милостью не итти в бой!

Капитану Маршнеру сразу стало легче на душе после того, как он мысленно разнес бедного грешника. Его совесть была теперь совершенно чиста, как-будто он и вправду назначил человека на этот пост совсем случайно. Однако, это чувство он испытывал недолго,

потому что дурашливый парень все-таки восторженно глядел на него в упор, как на своего спасителя. И когда он, вытянувшись по-военному в струнку, но с хриплым и дрожавшим от волнения и едва сдерживаемых слез голосом пробормотал: «Дозвольте пожелать вам всякого благополучия, господин капитан», то от этого пожелания повеяло такой искренностью и пламенной привязанностью, что у капитана вдруг опять что-то защемило в сердце, и, круто повернув, он быстро удалился.

Теперь он все понял; мог себе приблизительно представить, как Вейкслер, успев все прочитать на его лице, должен был втайне смеяться над его сентиментальностью, если даже такой простой человек, как этот столяр, отгадывал его сокровеннейшие мысли! Ведь он не сказал ему ни одного слова, только незаметным образом наблюдал за ним третьего дня вечером во время посадки в Вене, когда тот прощался со своею матерью. Как же мог этот плут догадаться, что сгорбленная, сморщенная баба-яга, с совершенно высохшей и испещренной тысячью морщин кожей, произвела такое впечатление на его капитана? Ведь он сам наверно даже и не мог себе представить, как трогательно это выглядело, когда крошечная старушка ласково поглядывала на него снизу вверх и, не будучи в состоянии достать до его лица, поглаживала дрожащими руками его широкую грудь. Ведь никто же не мог ему сообщить, что его ротный командир не мог с тех пор смотреть на него без того, чтобы не видеть как бы нарисованной на его голубой гимнастерке восковую, жилистую руку со скрюченными, распухшими в суставах пальцами, которые с такой невыразимой любовью дотрагивались до грубого, ворсистого сукна. И все же этот пройдоха каким-то образом понял, что эта рука охраняет его, что она просила за него и смягчила сердце его начальника.

Гневно и в то же время смущенно, как-будто кто-то сорвал с его лица маску, зашагал Маршнер по лужайке. Значит, так просто было разгадать его мысли, несмотря на все его старания не выдавать себя?.... Он остановился, чтобы перевести дух; снова ударил хлыстом по траве и громко выругался. Ну да, он не умел притворяться, не мог вдруг стать совсем другим, если бы даже мировая война повторилась тысячу раз. Он привык добродушно улыбаться, когда его племянники и племянницы делали с ним все, что хотели; и он не был в состоянии превратиться в один миг в кровожадного убийцу, который с радостью идет охотиться на людей! И что это, вообще, за дурацкая мысль мерить всех на один аршин? Ведь никому не пришло бы в голову сделать из Вейкслера мягкосердечного филантропа; так почему же он должен был ни с того ни с сего, словно по щучьему веленью, стать отчаянным воякой?.. Ведь ему не двадцать лет, как Вейкслеру, и для него эти тихие, грустные люди, которых так безжалостно вырвали из их мирка, были более, чем ружья, которые можно отдать в починку, если они испортились, или равнодушно бросить, если они стали негодными для употребления. Кто познакомился с жизнью со всех сторон и достаточно пораздумал над ней, тот не мог уже быть таким «только солдатом» как его подпоручик, который, собственно говоря, не успел еще стать настоящим человеком и наблюдал жизнь лишь со двора кадетского корпуса и казармы.

Да, если бы дело обстояло еще так, как в начале войны, когда из окон вагонов орали только молодые люди, искавшие приключений, не оставлявшие дома никого, кроме разве своих родителей, которым они наконец-то могли доказать свою доблесть! Тогда и он постоял бы за себя, не хуже всякого другого, нисколько

не лучше бравого подпоручика Вейкслера. Тогда людям приходилось шагать две-три недели, чтобы приблизиться к неприятелю. Тогда можно было отрешаться от жизни постепенно, медленно преодолевая тысячи невзгод и лишений, пока, вследствие голода, жажды и усталости, не забывалось, наконец, все то, что было оставлено там, где-то далеко-далеко позади. Тогда ненависть к врагу, который был виновником всех этих мучений, нарастала со дня на день все больше и больше, и боевая схватка являлась освобождением от длительного, изводящего периода страданий.

Теперь же все шло, как по команде. Всего лишь третьего дня — в Вене, а сегодня, еще с прощальным поцелуем на губах, еще не успев отвыкнуть от дома — прямо в огонь. И не с закрытыми глазами, не инстинктивно, как те первые! От этих несчастных людей война не скрывала больше никаких тайн. У каждого уже были убитые в семье или среди знакомых; каждый уже говорил с ранеными, видал искалеченных, изуродованных инвалидов и знал больше о шрапнельных ранах, рикошетах, газовых бомбах и огневых аппаратах, чем знали о них до войны артиллерийские генералы и военные врачи.

И вот эти-то зрячие, эти так жестоко вырванные с корнем существа он должен вести в бой! Он, отставной капитан Маршнер, глубоко штатский человек, который вначале был оставлен в тылу вместе с новобранцами. Теперь, когда положение ухудшилось в тысячу раз, теперь дошла очередь и до него стать полководцем, и он не смел воспротивиться этой задаче, которая была ему не по силам. Наоборот, ему пришлось выдвинуться вперед, пришлось, приличия ради, настаивать на своем назначении, чтобы тем, которые уже раз пролили свою кровь, не пришлось опять итти на фронт, вместо него!

Глухая, бессильная злоба охватила капитана, когда он вернулся к своим солдатам, которые, построившись в одну шеренгу, пристально глядели на него, затаив дыхание. Что мог он им сказать? Покорно отбарабанить полагающиеся в подобных случаях патриотические наставления, которые, словно кем-то диктуемые, так и просились на уста? Но уже несколько месяцев лелеял он в своей душе упорное решение не произносить полагающейся фразы: «dulce est pro patria mori» [1], чего бы это ему ни стоило. Ничто не было ему так противно, как это бряцание словами «принести себя в жертву отечеству», как этот шарлатанский прием: толковать о смерти, когда дело шло об убийстве.

Он стиснул зубы и робко опустил голову перед этой стеной бледных лиц. Глупая, детская просьба: «Береги нас!» раздражающе блестела у всех в глазах и доводила его до отчаяния.

Он охотно разогнал бы их всех по домам и пошел бы дальше один! Но, взяв себя в руки, он выпрямил грудь и, неподвижно устремив взгляд на медаль, висевшую на груди солдата, стоявшего в середине шеренги, воскликнул:

— Братцы! Мы идем теперь на врага. Я рассчитываю на то, что каждый из вас исполнит свой долг и будет верен присяге. Я не потребую от вас ничего такого, что не должно быть совершено в интересах нашего отечества, стало-быть, в ваших собственных интересах, ради безопасности ваших жен и детей; в этом вы можете быть уверены. Желаю вам счастья! А теперь — вперед!

Сам того не замечая, он подражал голосу Вейкслера, его чрезмерно громкому, нарочито бравурному тону, чтобы перекричать свою растроганность, которая, дрожа,

---

[1] «Приятно умереть за отечество» (латинское изречение).

притаилась у него в горле; прокричав последнее слово, он с быстротою молнии отвернулся и, уже больше не оборачиваясь, отдал приказ рассыпаться, опустил голову на грудь и стал большими шагами подниматься на холм.

Позади него скрипели сапоги, побрякивали котелки, ударяясь о какой-нибудь предмет снаряжения. Потом стало слышно пыхтение тяжело нагруженных людей, и густое, удушливое облако пота нависло над марширующей ротой.

Капитану Маршнеру было стыдно! Глубокое физическое отвращение вызвала в нем та роль, которую ему только-что пришлось сыграть. Что же оставалось делать этим простым людям, этим каменщикам, монтерам и крестьянам, которые коротали свою жизнь без широких горизонтов, гнули спину над будничной работой, когда сам господин капитан, с тремя золотыми звездочками на воротнике, уверял их, что это их долг и в высшей степени похвально стрелять в итальянских каменщиков, монтеров и крестьян? И они шли, запыхавшись, за ним; а он — он вел их! Вел их против своего убеждения, из жалкой трусости, и требовал от них храбрости и презрения к смерти. Он уговорил их, злоупотребил их доверием, использовал их любовь к женам и детям, потому что ему важнее было ценою лжи остаться, может быть, в живых и вернуться невредимым с войны, чем наверняка дать расстрелять себя ради той правды, в которую он верил! Он поставил свою жизнь и их жизни на крапленые карты ва-банк, потому что он был слишком труслив, чтобы самому взглянуть в глаза верному проигрышу!

Солнце убийственно жгло крутой, лишенный растительности склон. К свисту шрапнелей, трескотне пулеметов и рявканью собственных орудий примешивалось теперь все яснее, все громче завывание неприятельских снарядов. И все же гребень холма еще не был

*

достигнут!... Капитан чувствовал, что его легкие отказываются работать, остановился и поднял руку. Надо было дать людям минуту передышки; ведь они с четырех часов утра находились в пути, и прошли порядочное для своих сорокалетних ног расстояние. Он сам не мог уже двигаться.

С состраданием смотрел он на их багровые, залитые потом лица и вздрогнул, когда увидал, что к нему быстрыми шагами приближается подпоручик Вейкслер. Почему он не мог смотреть на это лицо без какой-то болезненной спазмы, словно схваченный за горло ненавистью, которую он еле-еле сдерживал? Собственно говоря, он должен был бы радоваться тому, что он имеет его около себя здесь, на поле сражения. Одного лишь взгляда на эти холодные, что-то выжидающие глаза было достаточно, чтобы побороть в себе всякие сентименты.

— Честь имею доложить, господин капитан, — заговорил он своим гнусавым голосом, — что я перейду на левый фланг. Там несколько голубчиков мне что-то не нравятся. Особенно Зиммель, эта рыжая собака! Он уже теперь прячет голову, когда там впереди разрывается шрапнель.

Маршнер молчал. «Рыжая собака»? Зиммель?.. Ведь это же был тот рыжеволосый фланговый во втором взводе; тот обойщик, который до последней минуты держал на руках прелестную, маленькую девочку, держал до тех пор, пока Вейкслер не погнал его грубо в вагон... Капитану Маршнеру казалось, что он видит еще, как удивленно взглянули дети на всемогущего человека, который осмелился так накричать на их отца.

— Оставь его, он привыкнет к этому, — сказал он мягко. — У него все еще в голове его дети, и он не торопится сделать их сиротами. Ведь не все же

люди могут быть героями! Только бы исполняли свой долг.

Лицо Вейкслера окаменело. На его узких губах появилось опять то холодное, презрительное выражение, которое всегда действовало на капитана, как удар хлыста.

— Так пусть он не думает больше о своей мелюзге, а думает о присяге, которую он дал своему державному вождю. Ведь ты же им сам только-что сказал, господин капитан.

— Да, да. Я это им сказал! — рассеянно кивнул головой капитан Маршнер и медленно опустился на траву. Его удивляло не то, что тот так говорил. Нет! А то, что и для него самого, когда-то, лет двадцать пять тому назад, когда он, насквозь пропитанный воодушевлением, вышел из кадетского корпуса, слова «присяга знамени» и «державный вождь» звучали столь же всеисчерпывающе! Так же, как и Вейкслер, он сам пошел бы тогда с радостью и восторгом на войну. Но как мог он ныне, сделавшись глухим к трескучей напыщенности слов и ясно сознавая всю их закулисную подоплеку, поспевать за молодежью, которая так охотно верит всему, что возвещается стоя и возвышенным голосом? Как мог он требовать бесшабашной удали от своих славных, добродушных, флегматичных бородачей, этих мирных обывателей, которых жизнь уже настолько укротила, что у себя дома они предпочли бы голодать, чем дотронуться до чужого добра, отделенного от них лишь тонким стеклом? Как мог он предъявлять к обойщику Зиммелю те же требования, что и к молодому подпоручику, который никогда еще не стремился ни к чему иному, кроме того, чтобы прослыть одним из первых в области фехтования, борьбы и проявления храбрости? Славились ли когда-либо наемные солдаты своим

добронравием, а почтенные граждане своей неустрашимостью? Могли ли одни и те же люди быть одновременно двадцатилетними и сорокапятилетними?

Скрючившись и зажав в кулаки голову, капитан настолько погрузился в свои мысли, что он совершенно позабыл, где он находился, и вообще ничего не замечал. Все попытки подпоручика Вейкслера, который нарочно не раз проходил мимо него и, надрывая глотку, гонял солдат туда и сюда, оставались безуспешными. Он пришел в себя лишь тогда, когда услышал поблизости конский топот. По огибавшей холм проселочной дороге скакал офицер в высокой фуражке генштабиста. Он остановил лошадь, вежливо осведомился, куда направляется рота, и поморщился, когда капитан Маршнер назвал ему номер боевого участка.

— Вот вы куда! — воскликнул он, и гримаса на его лице медленно расплылась в почтительную улыбку. — Ну, тогда поздравляю! Вы попадете какраз в самую гущу, в самое пекло. Там эти господа макаронщики уже третий день пытаются прорваться. Так я вас не хочу задерживать! Бедняги, которые сидят там в окопах, очень нуждаются в смене. Всего наилучшего!

Он грациозно приложил руку к фуражке, пришпорил лошадь и ускакал.

Капитан, ошеломленный, смотрел ему вслед. «Ну, тогда поздравляю!» — звучало у него в ушах. Человек, с гордым видом сидевший на лошади, хорошо отдохнувший, выспавшийся, румяный, чистенький, точно возвращающийся прямо с парада, встречается с двумястами обреченными на смерть жертвами, вспотевшими, запыхавшимися, находящимися на краю гибели, знает, что через какой-нибудь час многие из этих людей, которые теперь еще с любопытством глядели на него,

будут валяться на траве, с искаженными от боли лицами или мертвые, и, улыбаясь, говорит: «Ну, тогда поздравляю!» И скачет себе дальше, не ощущая никакого благоговейного трепета и нисколько не смущаясь!

Бесследно исчезнет из его памяти эта встреча; ничто не напомнит ему сегодня вечером, за ужином, товарища, которому он утром пожал руку, и для которого это рукопожатие, может-быть, было последним в жизни!.. Какое дело этим избранникам, находящимся в безопасном тылу и посылающим дивизии в огонь, до какой-то роты, идущей на смерть? А этот несчастный рыжий обойщик, тут же рядом, дрожал, подергивал плечами и широко раскрывал глаза, как будто судьба всего мира зависела от того, придется ли ему еще раз в жизни взять на руки свою кудрявую девчурку. В самом деле, если посмотреть на все дело с точки зрения такого проносящегося мимо генштабиста, думающего лишь о победе, которая рано или поздно будет отпразднована, — то Вейкслер, в сущности, прав. Его должно было возмущать, что столь величественная героическая поэма, из-за какого-то труса превращается в жалкую семейную сцену.

«Эти бедняги, которые там сидят!..» — У Маршнера мурашки пробежали по спине, когда при этих словах генштабиста его воображению представилась вдруг картина разбитого снарядами, залитого кровью окопа, со смертельно уставшими бойцами, ожидавшими его, как своего избавителя. Со стоном поднялся он, охваченный безумным озлоблением и ненавистью к переживаемому времени. И ведь не было никакого исхода! Каждая минута, которую он дарил своим людям, была воровством или даже убийством, жертвой которого были те, которые находились там впереди. С яростью взмахнул он рукой и двинулся вперед с твердым намерением больше не останавливаться,

пока не достигнет окопа, который он должен был занять. На его бледном, грустном лице неизменно появлялась страдальческая улыбка, когда с другого фланга до него доносился вызывающий возглас его подпоручика: «Вперед, вперед!»

Внезапно он остановился. К завыванию, грохоту и шуму присоединился вдруг новый звук, ясно выделявшийся среди общего, еще слабо проникшего в сознание гула. Он приближался с такой стремительной и угрожающей быстротой, что казалось, будто этот звук стал видимым; в воздухе образовалась какая-то ревущая дуга, которая, кружась почти над самыми головами, неожиданно оборвалась с сухим треском, а в нескольких шагах от этого места, впереди, поднялся небольшой столб пыли, и невидимые градины, щелкая, посыпались на траву.

— Шрапнель!..

Капитан Маршнер удивленно оглянулся и к своему ужасу заметил, что все взоры вопрошающе направлены на него; на губах у всех застыла какая-то странная, озадаченно-стыдливая улыбка.

Вот настал момент показать хороший пример! Невозмутимо ринуться вперед, не останавливаясь и без оглядки. В сущности было безразлично, что делать. Удрать, спрятаться не было никакой возможности. Оставалось только надеяться на свое счастье: иной защиты не было. Итак, вперед, как-будто ты ничего не замечаешь! Нашелся бы хоть один, который не трусил бы, тогда и другим стало бы стыдно, они начали бы подражать друг другу, и дело было бы выиграно. Он, ведь, замечал это по себе самому, ибо сознание, что он на виду у всех, придавало ему стойкость. Если бы он был совершенно один, он, может-быть, бросился бы плашмя на землю, попытался бы укрыться за каким-нибудь, даже самым маленьким камнем.

— Это был только перелет! Вперед, ребята, — громко крикнул он, почти повеселев при мысли, что он служит поддержкой для своих солдат. Едва успел он договорить, как уже подлетели со свистом следующие снаряды. Он напряг все свои мускулы и заскрежетал зубами от злости. Но не сила, с которой приближался снаряд, заставила его содрогнуться, а та удивительная отчетливость, с которой вырисовывалась перед ним линия полета снаряда, совсем как на чертеже, который демонстрировался на уроках артиллерийской стрельбы; это противоестественное восприятие звука скорее глазами, нежели ушами — вот что сковывало всякую волю.

Надо было что-нибудь делать, как-нибудь создать себе иллюзию, что ты не совершенно беззащитен! «Рота, бегом, марш!», закричал он так громко, как только мог, держа обе руки у рта наподобие рупора.

Словно сорвавшись с цепей, солдаты бросились бежать. Напряжение исчезло на их лицах. Каждый из них был так или иначе занят самим собой, спотыкался, падал и опять поднимался на ноги, стараясь придерживать развязавшиеся предметы снаряжения; и в этом общем кряхтении и пыхтении почти незаметно растворялся угрожающий свист приближавшихся снарядов.

Через некоторое время капитану Маршнеру показалось, что кто-то дышит ему в левое ухо. Он повернул голову и увидал багровое лицо Вейкслера, бежавшего рядом с ним.

— В чем дело? — спросил он, невольно замедляя шаг.

— Господин капитан, честь имею доложить, что надо бы для примера строго наказать этого труса Зиммеля! Он деморализует всю роту! При каждой шрапнели он кричит «пресвятая богородица», бросается от страха на землю и наводит панику на дру-

гих. Следовало бы проучить этого субъекта, чтобы другим не повадно было...

Его фраза была прервана одновременным разрывом четырех шрапнелей. Рёв снарядов усилился, стал еще пронзительнее; капитану показалось, будто огромная, ослепительно яркая коса круто метнулась сверху прямо на его череп. Но на этот раз он не успел даже моргнуть глазом. Не думая об опасности, он пытливо уставился на своего подпоручика, с любопытством наблюдая, как тот будет держать себя под столь приятным его сердцу огнем. Но тот, казалось, не обращал на шрапнель никакого внимания. Он выпрямился, пристально взглянул на левое крыло и возмущенно воскликнул:

— Вот, посмотрите, господин капитан! Этот мерзавец опять уже лежит. Я ему сейчас покажу...

И раньше, чем Маршнер успел его схватить, он уже рванулся вперед, но на полдороге остановился и с недовольным видом вернулся назад.

— Ранило мерзавца, — доложил он, сердито подергивая плечами.

— Ранило? — сорвалось с уст капитана, и что-то противное, горькое внезапно прилепило его язык к гортани.

Он видел ледяное спокойствие в чертах Вейкслера, его безучастный, равнодушный взгляд, и его рука невольно поднялась кверху. Захотелось ударить его, до того раздражающе действовала на него эта безучастность, так больно было ему от этих небрежно брошенных слов: «Ранило мерзавца». Образ прелестной девчурки со светлым бантиком в рыжих кудрях промелькнул перед ним, и затем видение скрючившегося трупа с ребенком на руках. Он видел, как сквозь туман, Вейкслера, промчавшегося мимо него вслед за ротой, и побежал туда, где над кем-то возились на коленях два санитара.

Раненый лежал на спине; его огненно-рыжие волосы обрамляли зеленовато-серое, сумрачно-неподвижное лицо. За несколько минут до этого капитан Маршнер видел его еще бегущим, — видел то же лицо еще разгоряченным, возбужденным, оживленным. Он почувствовал слабость в коленях, — вид этой непостижимой внезапной перемены, словно холодной струей, обдал его сердце. Да могло ли это быть?... Могла ли вся кровь так мгновенно отхлынуть; мог ли здоровый, сильный человек так быстро превратиться в развалину? Какая адская сила должна была таиться в таком кусочке железа, если он мог в какие-нибудь секунды проделать работу долгих месяцев болезни?

— Не бойтесь, Зиммель, — бормотал капитан, опираясь на плечо одного из санитаров, — вас отнесут в обоз! — и, глубоко вздохнув, с трудом заставил себя солгать: — Теперь вы, пожалуй, первым возвратитесь в Вену!

Он хотел прибавить еще что-нибудь о его семье, о рыжеволосой девчурке, но слова застряли у него в горле. Он боялся, что умирающий будет звать своих, и его охватила внутренняя дрожь, когда страдальчески искаженный рот медленно раскрылся. Стеклянный взгляд, казалось, не ища опоры ни в чем земном, витал где-то далеко-далеко. Тело извивалось под руками ощупывавшего его санитара; из развороченной, залитой кровью груди поднимались, клокоча, неясные звуки, отчего кровавая пена на губах вздувалась, образуя лопающиеся воздушные пузыри.

— Зиммель! Что вы хотите, Зиммель? — спросил Маршнер, низко склонившись над раненым. С напряженным вниманием вслушивался он в этот лепет в надежде уловить последнее желание солдата. Он облегченно вздохнул, когда блуждающие глаза раненого наконец остановились на его лице. — Зиммель, — повто-

рил он робко и пытливо, стараясь поймать его руку, которая, дрожа, нащупывала рану. — Зиммель! Разве вы меня не узнаете?

Зиммель кивнул. Он широко раскрыл глаза, углы его рта опустились и плаксиво, с упреком, — как это показалось капитану, — из растерзанной груди вырвалась жалоба:

— Больно, господин капитан, так больно!

И, после короткого, хриплого, болезненного стона, он с пеной у рта пронзительно, яростно завыл:

— Больно!.. Больно!.. — и забился в судорогах.

Капитан Маршнер вскочил.

— Отнесите его вниз! — приказал он и, совершенно не отдавая себе отчета в том, что он делает, заткнул себе уши и побежал догонять роту, которая уже достигла гребня холма. Он бежал, стиснув руками голову, пошатываясь и задыхаясь, подгоняемый страхом, как-будто тень раненого гналась за ним с занесенным топором. Он видел, как корчилось сморщившееся тело, видел мгновенно поблекшее лицо, пожелтевшие белки глаз, и слова: «Так больно, господин капитан», продолжали звенеть в его ушах, вцеплялись ему в грудь; добежав до верху, он в изнеможении свалился, как-будто почва ушла у него из-под ног.

Нет, он не может этого! он не хочет больше!.. Он не палач; он не был способен гнать людей на смерть; не мог оставаться глухим к их горю, к этому детскому плачу, который, как камень, давил его совесть! Он упрямо затопал ногами; все в нем восставало против лежавшей на нем обязанности.

Внизу расстилалось поле сражения; безотрадно серое. Ни деревца, ни пятнышка зелени. Каменная пустыня; избитая, взрыхленная, изрытая, без единого признака жизни. Ходы сообщения, которые начинались в долине и вели наверх к краю холма, окай-

мленного проволочными заграждениями, походили на растопыренные, готовые вцепиться пальцы; глубоко врезались они в задушенную ими землю. Маршнер невольно еще раз оглянулся. Позади него зеленый склон круто опускался к лесочку, под защитой которого он оставил свой обоз. Еще дальше белело, как река, шоссе, обрамленное пестреющими лугами. Небольшой поворот — и зелени как не бывало! Вся жизнь погибала, как бы сметенная ревом орудий, воем и треском, которые, как пульс чудовищной лихорадки, бешено потрясали долину. Внизу, одна возле другой, зияли воронки от гранат; порой поднимались густые черные столбы земли и на мгновение закрывали частицу этой обращенной в пепел пустыни, где насмешливо торчали треснувшие, как бы изрезанные перочинным ножом, пни; какой вызов для бессильной фантазии: узнать в этой засыпанной мусором Долине Смерти ту местность, которая была здесь до того, как над нею пронеслось безумие и оставило ее усеянною обломками, словно место танцульки, где два мира подрались из-за какой-то девки!

И в эту адскую долину он должен был спуститься! Жить там внизу пять дней и пять ночей с кучкой обреченных людей, выброшенных туда и заживо насаженных на крючок, как приманка для врага!..

Оставшись совершенно один, под грохот разрывающихся снарядов, которые там наверху сыпались градом, капитан Маршнер всецело отдался своей злобе, бессильной злобе на мир, причинивший ему такие страдания! Вдруг он заметил, как далеко внизу, почти уже в долине, вынырнули его люди с подпоручиком Вейкслером, бежавшим за ними, как мясник, который гонит своих быков на бойню. Капитан видел, как они спешили, видел, как над их головами взрывались снаряды, видел на склоне перед собою тут и там разбро-

санные, словно вещевые мешки, сине-серые кучки, одни — неподвижные, другие — ползущие, как большие пауки; и он ринулся вперед.

Как бешеный несся он по крутому склону, не чуя земли под ногами, не слыша свиста осколков, скорее летел, чем бежал, натыкался на обугленные корни, падал, вскакивал вновь, мчался дальше, не глядя ни направо, ни налево, почти с закрытыми глазами. От времени до времени, как в окне поезда, перед ним мелькали бледные, испуганные лица; один раз ему показалось, как-будто кто-то простонал, прося воды; но он, слепой и глухой, бежал дальше без передышки, подгоняемый страхом перед тем сердитым упреком: «Так больно!»...

Только один раз он остановился как вкопанный, словно попал в капкан, который железными клещами охватил его ноги. Его задержала чья-то рука, серая, судорожная рука, со скрюченными пальцами, словно высеченная из камня, неподвижно торчавшая перед ним. Лица он не видел; не имел понятия, кто ему грозил своим мертвым кулаком. Он знал лишь одно, что эта самая рука два часа тому назад была еще жива, и вон там, в лесочке, спокойно резала ломтями черный хлеб или же писала свою последнюю открытку. И безумный страх перед этими пальцами овладел им и придал его ногам новую силу, так что он, как мальчик, большими прыжками понесся дальше, пока, тяжело переводя дух и с красным туманом в глазах, не нагнал своей роты, совсем уже внизу, в долине, у входа в окопы.

Подпоручик Вейкслер, козыряя, подошел к нему и донес об убыли четырнадцати человек. Маршнер улавливал гордость, звучавшую в его голосе, его торжество по поводу того, что он так хорошо выполнил возложенную на него задачу, напоминавшее восторг незрелого юнца, хвастающегося первыми волосками

на своей верхней губе и с важностью старающегося говорить басом. Что значили для него эти раненые, которые плавали в своей крови там наверху, на склоне? Этот рыжеволосый трус со своим нытьем — дети лишенные своих кормильцев и обреченные на нищенство, на жизнь бродяг, может-быть, будущие преступники — ведь все статисты, темный фон, на котором ярче выделялась геройская отвага подпоручика Вейкслера. Четырнадцать кровавых тел окаймляло тот путь, который он бесстрашно прошел. Почему бы его глазам и не сверкать от гордости?....

Капитан поспешил дальше, минуя Вейкслера. Только бы не смотреть на него, — говорил он себе, — только бы не встретиться с этим довольным, сияющим взглядом; а то гнев мог бы пересилить в нем всякое благоразумие, мог развязать его язык, и его сжатая в кулак правая рука могла пойти, помимо воли, своим путем! Но тут он должен был щадить этого человека; здесь подпоручик Вейкслер был прав, значение его возрастало с минуты на минуту, обгоняло всех, он плыл по поверхности в то время как другие, обремененные тяжестью своей созревшей человечности, грузно, как свинцовые болванки, шли ко дну. Здесь действовали иные законы! Мрачная галлерея, по которой приходилось теперь продвигаться с трясущимися коленями, вела к острову, берега которого омывала лишь одна смерть. Тому, кого выбрасывало туда, не разрешалось иметь при себе ничего такого, что ему нужно было в ином мире... Только тот, кто принес с собой лишь кулак и топор, был тут господином, был богачом, за избытки которого цеплялись другие. Все яснее становилось капитану Маршнеру, в то время как он, ошеломленный, нащупывал дорогу по скользскому окопу, что он должен, как клад, беречь своего ненавистного ему подпоручика, что он пропал бы без

него! Он видел следы целых луж запекшейся крови под своими ногами, ступал по разорванным, пропитанным кровью мундирам, по пустым гильзам, звенящим консервным жестянкам и осколкам снарядов; внезапно перед ним открывались зияющие воронки от гранат с кое-как перекинутыми через них обгорелыми досками; отовсюду на него глядели следы безумного разрушения, обуглившиеся остатки, кучи проволоки, балки, мешки, попорченные инструменты; всюду царил захватывающий дыхание и вызывающий головокружение хаос, окутанный удушливым запахом гари и пороха и острой, едкой вонью разрывных снарядов; земля была на каждом шагу выворочена чудовищными взрывами, так что приходилось пробираться ощупью, пошатываясь, как во время урагана.

Подавленный тяжелыми впечатлениями, капитан Маршнер, словно червяк, полз по траншее, и его мысли все отчаяннее, все упорнее возвращались к подпоручику Вейкслеру. Помочь ему, заменить его мог только Вейкслер со своей холодной суровой энергией, со своей слепотой ко всему, что не соприкасалось с его собственной жизнью, что не затмевалось ярким образом осыпанного наградами и вне очереди произведенного в следующий чин Эриха Вейкслера!....

Боязливо оглядывался он снова и снова на своего подпоручика и облегченно вздыхал, когда сзади до него доносился картавый понукающий голос Вейкслера.

А окопу все еще, казалось, не будет конца. Маршнер чувствовал, что его силы ослабевают, спотыкался все чаще, и все-таки, дрожа, закрывал глаза перед пересекавшимися кровавыми следами, точно указывавшими путь, по которому проходили раненые. Вдруг приторно-едкий запах заставил его быстро поднять голову. Едва преодолевая отвращение и тошноту, он осмотрелся кругом и заметил в углублении груду

наваленных слоями друг на друга грязных, разодранных мундиров, со странно-неподвижными контурами. Только постепенно его взгляд постиг тот ужас, который представился ему. Там лежали убитые солдаты, сложенные как доски и балки на постройке. Прикрывавший их брезент съехал в сторону и обнажил их каменно-серые, искаженные лица, отвисшие челюсти и выпученные глаза. Руки лежавших наверху свисали до земли и были уже покрыты разноцветными пятнами разложения.

Капитан Маршнер, вскрикнув, подался вперед. Голова его затряслась, точно лишившись опоры, колени подогнулись, он уже готов был упасть, как вдруг чье-то незнакомое лицо, вынырнув перед ним, привлекло его внимание и сразу же вернуло ему самообладание. Перед ним стоял чужой фельдфебель, смертельно бледный, онемевший от неожиданности и глядевший на него большими, лихорадочно блестевшими глазами. С секунду он стоял, как парализованный, затем разинул рот, ударил в ладоши, подпрыгнул, как танцор, и поскакал большими прыжками, позабыв даже отдать честь.

— Смена! — закричал он на-ходу, остановился перед какой-то черной дырой, зиявшей в стене окопа, точно вход в пещеру, нагнулся и с неописуемым восторгом в голосе, с ликованием, которое звучало как бы сквозь слезы, гаркнул в темное отверстие: — Смена!.. Господин поручик! Смена пришла!..

Капитан следил за ним взглядом, слышал его возглас, и его глаза стали влажными, до того трогателен был этот детский радостный крик, эти громкие звуки из освобожденной груди. Он медленно пошел за фельдфебелем и увидел, что из всех углов выглядывают бледные лица, раненые с окровавленными перевязками, трясущиеся фигуры с оружием в руках.

Возглас фельдфебеля словно пробудил мертвых: со всех сторон стали стекаться люди, уставились на него и беззвучно повторяли слово «смена», пока, наконец, один из них пронзительно не заорал «ура», которое распространилось дальше, подобно огню, находя отзвук в невидимых глотках, которые вторили ему с воодушевлением. Потрясенный всем этим, Маршнер опустил голову; он заслонил рукой глаза, когда из пещеры ему навстречу выскочил командир.

В этом человеке не было ничего живого: его лицо было пепельно-серое, глаза—потухшие, мутные, окруженные широкими тенями, веки — ярко-красные от бессоницы. Волосы, борода и одежда были покрыты толстым слоем глины и грязи, так что казалось, будто он только-что вылез из могилы. Его рука, которая, после краткого официального донесения, в избытке радости пожимала руку капитана, липкая от пота и грязи, была холодна, как у трупа. Каким-то жутким казался контраст между этим скелетом, на котором одежда висела, как на вешалке, между этой неподвижной мертвой маской и тем оживленным нервным возбуждением, с которым поручик встретил своих освободителей.

Слова лились, словно водопад, с его потрескавшихся губ. Он втащил Маршнера в глубину пещеры, усадил спотыкавшегося гостя, — который, точно ослепленный, хватался за что попало, — на невидимое возвышение и начал рассказывать. Он не мог ни минуты стоять спокойно, подпрыгивал, ударял себя по бедрам, громко смеялся, ходил, приплясывая, взад и вперед, кидался на кровать, стоявшую в углу, просил время от времени дать ему папиросу, бросал ее, не замечая этого, после двух затяжек и сразу же хватался за другую.

— Итак, еще три часа, — блаженно хрипел он с напускной веселостью, — три... нет! Еще один час —

и было бы уже слишком поздно. Знаешь ли, сколько у меня еще осталось патронов? Всего тысяча сто штук! Пулеметы износились; телефон перебит еще со вчерашней ночи! Выслать патруль для исправления — невозможно, так как в окопе мне нужен каждый человек. Нас было сто шестьдесят четыре, когда мы прибыли сюда; теперь же у меня всего тридцать один человек, да одиннадцать раненых, которые больше не могут держать винтовку. Тридцать один человек, и вот, изволь, удерживай с ними окоп. Еще сегодня ночью нас было сорок пять, когда они пришли; мы опять прогнали их к чорту; но это стоило нам четырнадцати человек убитыми. Мы не могли их еще похоронить. Видал? Они лежат перед солдатским блиндажом.

Капитан дал ему высказаться; он оперся локтями о примитивный стол, стиснув руками свою голову, и молчал. Его глаза блуждали по мрачному, сырому помещению, пропитанному копотью маленькой керосиновой лампочки. Он видел в углу заплесневевшую солому, осиротевший телефон около входа, пустой ящик из-под консервов, на котором была разложена помятая карта местности, видел целую гору винтовок, связанных в узлы мундиров с пришпиленными к ним бумажками и чувствовал, что его постепенно охватывает немой, леденящий ужас и спирает ему дыхание, как-будто земля, которую там наверху сдерживают треснувшие доски, ежеминутно грозит навалиться всей своей чудовищной тяжестью на его грудь. Этот приплясывающий призрак, с хихикающей головой мертвеца, который неделю тому назад, может-быть, был еще молод, действовал на него, как кошмар; и сознание, что теперь настала его очередь просидеть пять, шесть, восемь дней в этом склепе, пережить те же ужасы, о которых тот, смеясь, рассказывал ему,

довело его уныние до пламенного, неистового возмущения, которое он с трудом сдерживал. Ему хотелось закричать, вскочить, убежать и от глубины души запротестовать против того, что человечество послало его сюда, где он должен оставаться до тех пор, пока не станет падалью или идиотом. Он не мог понять, как это он позволил загнать себя сюда; не видел никакого смысла, никакой цели, видел только эту дыру, а наверху разлагающиеся трупы и тут же рядом, — на расстоянии всего лишь одного шага от этой клоаки, свою Вену, такою, какою он ее оставил дня два тому назад, — с трамваями, витринами магазинов, раскланивающимися людьми и театральными залами. Что же это за безумие — томиться здесь в нелепом ожидании смерти, околевать на голой земле, как скотина, в грязи и крови, в то время как другие — веселые, чистые, нарядные — сидят в светлых залах, наслаждаются музыкой, ложатся в мягкую постель без страха, без риска, оберегаемые обществом, которое с возмущением напало бы на каждого, кто осмелился бы причинить им хоть малейшую неприятность!.. Неужели он уже сошел с ума, или с ума сошли другие?

Его пульс бился так бешено, что, казалось, его грудь готова разорваться, если он не сможет излить своего горя и тем облегчить свою душу. И вот в этот момент в их убежище с деловитой поспешностью, как дирижер танцев на балу, вбежал подпоручик Вейкслер, вытянулся перед капитаном и отрапортовал, что наверху все в порядке, что посты им уже назначены, дежурство распределено и пулеметы расставлены.

Капитан взглянул на него и должен был опустить глаза, испытывая чувство глубокого, жгучего стыда. Почему великий страх перед смертью, насыщавший

здесь воздух, не влиял на этого человека? Почему Вейкслер мог распоряжаться, приказывать, действовать с осмотрительностью зрелого человека, в то время как он сам спрятался, как запуганный ребенок, и противился своей судьбе бессмысленно и упрямо, как угнетаемое существо, вместо того, чтобы покорить ее себе, как это надлежит человеку его возраста?.. Неужели же он трус?.. Неужели же правда, что он находится во власти низменного, жалкого страха, — этой гнусной душевной слепоты, которая неспособна видеть дальше своего собственного «я» и не может ради идеи позабыть самое себя? Неужели у него нет никакого чувства солидарности? Неужели он всецело находится во власти своего близорукого эгоизма и озабочен единственно тем, чтобы спасти свою личную жалкую жизнь?..

Нет, он не такой! Он не цепляется за свою жизнь больше, чем всякий другой; он мог бы с восторгом расстаться с нею без знамен, без аплодисментов, без опьянения! Если бы неприятельский окоп был наполнен такими же людьми, как Вейкслер, если бы борьба велась против такой же жестокости, против этих начиненных человеческим мясом боевых лозунгов, против всей этой искусно построенной машины насилия, которая в качестве своего прикрытия гонит перед собой людей, вверенных ее защите, — о, тогда он бросился бы туда с голыми руками, не обращая внимания ни на разрывы снарядов, ни на стоны раненых!.. Нет, трусом он не был. Он не был таким, как о нем думали эти двое! Он видел, как они насмешливо перемигивались, втайне смеясь над изнеженным ополченцем, сидящим в углу, как тридцать три несчастья. Что знали они о его мучениях? Они считали себя «героями», чувствовали, что на них смотрит вся родина, говорили слова, которые, подхваченные эхом

целого мира, заселяли пустыню их единомышленниками и вливали в их души мысль миллионов людей, — и смеялись над человеком, который должен был убивать без ненависти и умирать без энтузиазма ради какой-то победы, представлявшей для него ничто иное, как силу, которая побеждала, потому что крепче била, а не потому, что была права, что ее цель была хороша и благородна. Пусть же они смеются над ним; у него нет основания прятаться за их мужественными спинами!

Холодное, гордое упрямство охватило его, и он встал, почувствовав вдруг в себе огромную силу, позволявшую ему преодолеть эту нечеловеческую тяжесть, которую он один нес на своих плечах. Он видел, как поручик, все еще приплясывая, собирал свои пожитки и запихивал их в свой вещевой мешок; слышал, как он торопил своего денщика, орал на него и, между прочим, рассказывал все новые и новые подробности, ужасные эпизоды борьбы последних дней, которым Вейкслер напряженно и жадно внимал.

— Что ты спрашиваешь,—кричал он, смеясь, своему собеседнику, — были ли у итальянцев тоже большие потери! Да что же ты думаешь, мы так и позволили бы им перестрелять нас, как зайцев? Прикинь-ка сам, какой урон понесли они в одиннадцати атаках, если наш отряд, не выходя из окопа, уменьшился до тридцати человек. Пусть они только попробуют продолжать в таком же духе хотя бы несколько недель, тогда у них скоро истощится запас человеческого материала!

Капитан Маршнер, не желая слушать, стоял, углубившись в карту; когда же до его уха донеслись слова «человеческого материала», они отозвались в его душе как издевательство; как-будто те двое увидели его насквозь и сговорились доказать ему, насколько он одинок.

«Человеческий материал!»...

В окопе, пропитанном трупным запахом и потрясаемом разрывами гранат, стоят два человека: оба они — такая же ставка в игре, а между тем они говорят о «человеческом материале», в то время как бросаются кости, решающие судьбу и их собственной шкуры! Произносят эти гнусные, позорные слова без всякого возмущения, находя совершенно естественным, что их тела являются не более чем игральными фишками в руках людей, которые присвоили себе право играть ими, как боги! Кладут без колебаний свою единственную, невозвратимую жизнь к ногам власти, которая только их трупами может доказать, умеет ли она выигрывать. И те, которые так говорят, — офицеры!.. Где же найти тогда еще хоть проблеск надежды?

Может-быть, там, наверху, у простых солдат, у пушечного мяса? Те покорно сидели на своих местах, думали о семьях и все еще чувствовали себя людьми. — Его потянуло к солдатам, к их тихой, тупой скорби, к этому подлинному душевному величию, к людям, которые без пафоса и торжественности, так сказать, в домашнем платье, терпеливо ожидали геройской смерти. Бесшумно вышел он, минуя обоих болтунов, из блиндажа.

У выхода стояли готовые к выступлению уцелевшие остатки покидавшей окоп роты: по-двое, с одним убитым товарищем на брезентовых носилках между ними. Это была длинная процессия, потрясавшая своим безмолвным ожиданием, в которое врывались сверху, словно угроза по адресу оставшихся в живых, шипение и взрывы шрапнели и треск гранат. Озлобленный этим ненасытным громыханием, Маршнер с ненавистью сжал кулаки, как вдруг к нему подошел бледный фельдфебель и вывел его из состояния оцепенения.

— Господин капитан, честь имею доложить: кроме наших четырнадцати убитых, у нас есть еще тяжело раненые, которые не могут итти. Для трех убитых нами итальянцев у меня не хватает носильщиков.

— Мы оставляем их вам на память! — вмешался со своим громким хохотом поручик, который как раз выходил с Вейкслером из блиндажа. — Ночью ты можешь велеть зарыть их там, наверху, между окопами, господин капитан. Когда стемнеет, господа макаронщики перенесут свой заградительный огонь дальше назад, и тогда можно будет пробраться наверх. Особенно спокойно им там не будет, потому что гранаты все равно вновь разроют землю; но ведь и нашим покойникам не лучше. Моего бедного кадета пришлось хоронить уже три раза.

— Как попали сюда вообще эти трое? — вмешался в разговор подпоручик Вейкслер, — разве у вас дело дошло до рукопашной в окопе?

Поручик с гордостью покачал головой:

— Как бы не так! До этого тем господам еще очень далеко. Позапрошлой ночью эти трое хотели было перерезать наши проволочные заграждения. Но наш пулеметчик заметил их и испортил им всю их затею. Они так и остались лежать у нас перед носом, а на ногах-то у них были чудные канареечно-желтые ботинки; ну, мои люди и не стерпели. Вот, — закончил он, указывая на ноги бледного фельдфебеля, — к примеру, одна из этих пар. Однако, нам пора итти. Валяй, фельдфебель! Честь имею кланяться, господин капитан. И удивятся же сегодня вечером макаронщики, когда они придут, думая с легкостью нас доканать, и вдруг с нашей стороны начнут работать сто пятьдесят ружей и два новеньких пулемета. Ха, ха, ха. Жаль, что я не буду при этом! Мое почтенье, молодой человек, желаю вам удачи!

Насвистывая веселую песенку, он пошел за своими людьми, ни разу не оборачиваясь и не замечая, что Маршнер некоторое время провожал его.

Радостно, как на воскресную прогулку, тронулись люди в путь, который вел через взрытое, усеянное обломками, поле и крутой, развороченный снарядами холм. Какой ад должны были пережить они тут, в этой кротовой норе!.. Тяжело вздохнув, капитан остановился. Ему казалось, что вместе с этой длинной серой колонной, которая медленно пробиралась по окопу, исчезала последняя его надежда. Спина последнего солдата, которая, покачиваясь, становилась все меньше и меньше, была последним звеном, соединявшим его с миром; взгляд его цеплялся за эту спину, с трепетом наблюдая за уменьшавшимся расстоянием между ней и поворотом окопа, который должен был скрыть ее навсегда. Еще можно было крикнуть им вслед, нагнать их и передать письмо! Наконец, исчез и этот последний посредник, последняя возможность разделить даль на две части. И стремления души отпрянули назад перед бесконечным пространством, которое отныне могли наблюдать только они одни.

Маршнер совсем пал духом, когда остался один в пустом окопе. Такую же пустоту чувствовал он и в себе; он осмотрелся кругом, как бы ища помощи, и его взгляд остановился на нише, которая теперь была очищена от трупов. Только те три итальянца лежали еще там. Было видно лицо одного из них; его рот все еще был широко раскрыт, а руки, как бы отбиваясь от кого-то, вцепились в распухшее тело. Двое других лежали с приподнятыми коленями, обхватив головы руками. Босые ноги с серыми, сведенными судорогой пальцами с немым укором уставились в окоп. И такой отчужденностью веяло от этих трупов, такими покинутыми казались эти разутые ноги!

Хаотическое сплетение воспоминаний, толпы забытых образов замелькали перед глазами: венецианские гондольеры, болтливые кучера, беззубая хозяйка на Позилипо; два путешествия по Италии во время отпуска заставили продефилировать перед ним целый сонм скорбящих людей, и последней замыкала этот хоровод родная сестра, беззаботно сидящая на Турецком валу на музыке, в то время как ее брат лежит уже где-нибудь неподвижно на земле, лежит мертвым прахом, который пренебрежительно отпихнули ногой в сторону.

В ужасе капитан поспешил дальше, как-будто трое убитых, босиком и бесшумно, преследовали его, и почувствовал себя в безопасности только тогда, когда, наконец, добрался до своих солдат. Гранаты сыпались теперь так часто, что между отдельными взрывами уже больше не было никаких пауз, и все это сливалось в равномерный гул, который заставлял вздрагивать землю, точно корпус судна. Лишь после одного меткого попадания, разнесшего прикрытие наверху, раздался особенно сильный грохот и треск, и несколько минут спустя двое людей, кряхтя, втащили вниз труп, прислонили его к стенке окопа и поднялись через узкий ход обратно на свои места. Маршнер увидел, как встал фельдфебель, как зашевелился его рот, после чего из угла поднялся солдат, взял винтовку и медленно, тяжелыми шагами последовал за двумя первыми. О, как это было безотрадно! Так беспощадно, деловито; вроде того, как на плацу перед казармой при одиночных упражнениях со скукой в голосе кричат — «следующий». Лишь с той разницей, что вокруг убитого немедленно собралась небольшая группа, движимая боязливым любопытством, которое неотразимо влечет простых людей к трупам. Большинство ожидало и от капитана, — он чувствовал

это по их взглядам, — что он теперь подойдет, чтобы отдать мертвому последний долг. Но он не хотел! Он твердо решил не справляться о фамилии убитого; твердо решил, наконец, научиться владеть собой и оставаться равнодушным ко всем маловажным событиям! До тех пор, пока он не видел лица убитого, не слышал его имени, он знал лишь, что был убит «солдат», один из многих тысяч. И в самом деле, если держаться на почтительном расстоянии, не склоняться над каждым отдельным убитым, не рисовать в своем воображении чьей-нибудь определенной судьбы, то вовсе не трудно быть равнодушным.

Упрямо пошел он ко второму ходу, ведшему наверх, и только теперь заметил, что стало совершенно тихо, и что вниз не проникало больше ни завываний, ни треска. Гробовое молчание сменило оглушительный шум, заполнило все помещение напряженным ожиданием, которое робко мерцало у всех в глазах. Ему хотелось освободиться от этого щемящего чувства, и он пополз по осыпавшемуся ходу на верхнее расположение.

Первое, что он увидел, была согнутая спина Вейкслера, который, вооружившись биноклем, припал к предохранительному щиту. Другие тоже стояли точно пригвожденные у бойниц, и в неподвижном положении их плеч было что-то ужасающее. Вдруг какая-то дрожь пробежала по оцепеневшим рядам! Вейкслер отскочил назад, столкнулся с капитаном, крикнул:

Идут! — кинулся дальше к ходу сообщения и, надув щеки, дал сигнальный свисток.

Маршнер беспомощно посмотрел ему вслед, нерешительно подошел к бойнице и взглянул на обширное, окутанное дымом поле, которое возвышалось, образуя свод, по ту сторону потрепанных проволочных заграждений — серое, разодранное и залитое кровью, словно

вздувшийся живот гигантского трупа. Далеко позади заходило солнце и, наполовину уже скрывшись за горизонтом, пламенно-красным светом вырастало из земли. А на этом ослепительном фоне плясали черные силуэты, как комары в микроскопе, как индейцы, потрясающие своими томагавками. Они были пока еще совсем маленькие, иногда исчезали, подпрыгивали, приближались, размахивали ружьями, как щупальцами полипа, а их крик постепенно становился слышнее, нарастая, как отдаленный собачий лай — звонкий, когда они ревели «avanti» [1]) и переходивший в глухие раскаты грома, когда крик «coraggio» [2]) пробегал по их рядам.

За бруствером стояла теперь тесной толпой, плечо к плечу, вся рота; с окаменевшими, озлобленными лицами, побелевшими губами, оскаленными зубами, с винтовками на прицеле: сторукое и стоглазое хищное животное!

— Не стрелять! Не стрелять! Не стрелять! — беспрерывно гремел по окопу голос Вейкслера, сдавливая все глотки и удерживая пальцы, которые с алчным нетерпением крепко вцепились в курки.

Уже первая ручная граната полетела в окоп!.. Капитан заметил ее приближение; видел, как один солдат отделился от общей массы и, пошатываясь и согнувшись, направился к выходу с распростертыми руками и с красной кровавой завесой на лице. Тогда только — наконец! — затрещали пулеметы, и тотчас же раздались ружейные выстрелы, словно свора бешеных собак, накинувшихся на неприятеля. Отталкивающая, холодная жадность просвечивала на всех лицах. Многие громко вскрикивали от ненависти и ярости, когда за поредевшими

---

1) Avanti — вперед!
2) Coraggio — смелее!

рядами показывались новые подкрепления; ружейные дула уже накалились, — а рев «coraggio» надвигался все ближе и ближе.

Вдруг капитан Маршнер увидел, как его сосед на мгновенье опустил винтовку и поспешно, дрожащими руками, прикрепил штык к дымившемуся дулу. К горлу его подступила тошнота, у него закружилась голова, он закрыл глаза и, цепляясь за стенку окопа, присел на землю.

— Неужели... неужели я должен все это... видеть?.. видеть, как убивают людей, тут же, у меня на глазах? — в ужасе прошептал капитан.

Он выхватил из кобуры револьвер, вынул весь заряд и бросил его в сторону. Теперь он был беззащитен; он стал спокойнее, выпрямился, воодушевленный пламенным решением дать себя убить одному из этих тяжело дышавших зверей, которые лезли на них, подгоняемые слепым страхом перед смертью. Он хотел умереть, как человек, без ненависти, без злобы, с чистыми руками...

Хриплый рев, ужасный нечеловеческий вопль рядом с ним привлек его внимание снова к окопу. Широкая полоса света и огня ослепляющей отвесной дугой упала недалеко от него и, рассыпавшись брызгами, полилась по плечам громадного, рябого портного из первого взвода. В один миг вся его левая сторона запылала. С ревом бросился он на землю, визжа катался по ней, потом вскочил, жалобно воя, и забегал, как живой факел, пока, наконец, не свалился с ног, наполовину обуглившись, и замер. Капитан Маршнер видел его лежащим, вдыхал запах горелого мяса, и взгляд его невольно упал на собственную руку, где крошечное белое пятно на большом пальце напоминало ему мучительную боль от ожога, полученного им еще в детстве.

В этот момент из сотни освобожденных глоток пронеслось по окопу громкое, ликующее ура. Атака была

отбита! Подпоручик Вейкслер взял огнеметателя на прицел и уложил его первым же выстрелом. Оцепеневшая рука убитого направила огненный фонтан круто вверх на своих же собственных товарищей; их сильно поредевшие ряды, испуганные неожиданной опасностью, дрогнули и сломя голову бросились назад, преследуемые ураганным огнем из всех ружей.

Солдаты повалились как мертвые, с восковыми лицами и потухшими глазами, как-будто кто-то выключил ток, который откуда-то питал энергией эти безжизненные тела. Некоторые из них, бледные как полотно, стояли, прислонившись к стене окопа и бессильно свесив голову на бок; их рвало от переутомления. Маршнер тоже почувствовал приступ тошноты и, нащупывая себе дорогу, направился к выходу. Ему захотелось теперь остаться в своем блиндаже совершенно одному, — как-нибудь избавиться от отчаяния, которое им овладело.

— Вот так штука! — неожиданно нарушил тишину подпоручик Вейкслер и галопом помчался налево, где находились пулеметы.

Капитан еще раз обернулся, поднялся на ступеньку и взглянул на поле. Там, перед самыми проволочными заграждениями, медленно подползал на коленях к окопу итальянец, левая рука которого бессильно болталась, правая же была умоляюще поднята кверху. Дальше, позади него, что-то шевелилось на земле. Трое раненых, прижимаясь к земле, передвигались по направлению к собственному окопу; было ясно видно, как они искали прикрытия за трупами, часто замирая на месте, чтобы не быть замеченными врагом. Вид этих жалких существ, которые зубами и когтями цеплялись за свою жалкую жизнь, был потрясающий.

— Посмотрите-ка, нет ли где-нибудь веревки? — крикнул стоявшим в окопе старый капрал, — жаль

этого беднягу, эту итальянскую колбасу. Попробуем его втащить!

В то время, как он говорил, послышался треск пулемета... Лежавший перед проволочным заграждением вскочил, отступил назад, как бы для разбега, и упал ничком. Видно было, как позади него поднялись с земли облачка пыли от упавших пуль, и как те другие, далеко позади, приподнялись, извиваясь как змеи. Затем все трое подались вперед, — и застыли на месте.

С минуту капитан Маршнер стоял, словно онемев; он широко раскрыл рот и не в силах был произнести ни единого звука. Наконец, язык его развязался, и он крикнул с бешеной, задыхающейся злобой в голосе:

— Господин подпоручик Вейкслер!

— Слушаю, господин капитан? — последовал спокойный ответ.

С сжатыми кулаками, с красным, как рак, лицом, бросился он навстречу подпоручику.

— Это вы стреляли? — вскрикнул он, задыхаясь.

Тот удивленно взглянул на него и, держа руки по швам, молодецки доложил:

— Так точно, господин капитан!

Маршнер вновь на мгновение лишился голоса; зубы его стучали.

— Стыдитесь! — проговорил он, заикаясь и дрожа всем телом. — В беззащитных раненых честный воин не стреляет, заметьте себе это!

Вейкслер побледнел как полотно.

— Честь имею доложить, господин капитан, что тот, который полз к нам, закрывал собой остальных; поэтому я не мог его пощадить. — Затем с внезапно прорвавшейся злобой, он упрямо добавил: — К тому же я думал, что у нас самих достаточно голодных ртов.

Капитан подскочил, как злая собака, к нему вплотную, топнул ногой и закричал:

— То, что вы думаете, меня не интересует. Я запрещаю вам стрелять в раненых! Пока я здесь командую, каждый раненый неприкосновенен! Все равно, направляется ли он к нам или к неприятелю! Вы меня поняли?

Подпоручик надменно вытянулся.

— В таком случае, я вынужден, господин капитан, просить вас отдать мне этот приказ в письменной форме. Я считаю своим долгом причинять врагу возможно больше вреда. Человек, которому я сегодня позволю убежать, вернется через два месяца здоровым и перестреляет, может-быть, десять моих товарищей.

С секунду стояли они неподвижно друг против друга и упорно смотрели друг другу в глаза, как два борца на жизнь и на смерть. Затем Маршнер слегка кивнул головой и беззвучно сказал:

— Хорошо, вы получите приказ в письменной форме! — повернулся и ушел.

Он должен был напрячь все свои силы, чтобы не потерять равновесия, и совсем разбитый упал на ящик из-под консервов, когда добрался до своего блиндажа. Его ненависть медленно превращалась в глубокое, озлобленное уныние. Он твердо сознавал, что он был неправ. Но не по отношению к своей собственной совести! Для него это дело было гнусным убийством, но здесь ни он, ни его совесть ничего не значили, затесались сюда случайно и должны были остаться неправыми. Что было ему делать? Если он отдаст приказ в письменной форме, то этим он даст Вейклеру желанную возможность отличиться, а себя самого посадит на скамью подсудимых.

Но доставить такой триумф коварному, противному хаму он ни за что не хотел. Лучше самому положить всему конец: пойти в штаб бригады и открыто заявить в лицо высшему начальству, что он больше не

может смотреть на эту кровавую стрельбу в цель, не может охотиться, как за дикими зверями, за людьми, какое бы на них ни было обмундирование. По крайней мере, кончилась бы, наконец, эта игра в прятки. Пускай бы они его расстреляли или повесили, как последнего преступника. Он показал бы им, что он сумеет умереть.

Твердыми шагами вышел он из блиндажа и приказал солдату позвать господина подпоручика. Он услышал адский огонь, который итальянцы вновь открыли по окопу и, медленно, точно прогуливаясь, пошел вперед.

— Теперь они швыряются чемоданами! — доложил старый капрал и с отчаянием взглянул на капитана. Но тот прошел мимо, не обращая никакого внимания на его умоляющий вопль. Все это его более не касалось. Командование переходило здесь к господину подпоручику. Это-то он и хотел ему сказать; он еле мог дождаться сбросить с себя ответственность!.. И так как Вейкслер все еще не являлся, он сам полез через отверстие в верхнее расположение.

Маленькие, гаденькие глаза кинулись ему навстречу, ища в его руке письменный приказ. Маршнер сделал вид, что он совсем не замечает вопрошающего взгляда Вейкслера, и надменно приказал:

— Господин подпоручик, я передаю теперь роту вам до...

Короткий, невероятной силы рев оборвал его на полуслове. «Это попадет в меня!» — промелькнуло в его голове, и в тот же момент он увидел что-то вроде черного кита, на его глазах ринувшегося с неба вниз головой и ударившегося в заднюю стенку окопа, — а потом из земли вырвался кратер, целое море огня, которое подняло его кверху и заполнило огнем его легкие.

Когда он постепенно пришел в себя, он лежал, погребенный под земляной насыпью; лишь его голова и левая рука были свободны; других членов он больше не чувствовал. Все его тело стало невесомым; не было ничего такого, чем он мог бы двинуть; он сознавал только, что весь горит и раздирается на части, и что это чувство откуда-то доходит до его мозга, обжигает его лоб и заставляет его язык разбухнуть в тяжелый, душивший его ком.

— Воды! — простонал он. — Неужели же не было никого, кто бы влил ему несколько капель воды в его выжженную гортань? Никого не было?... А где же был Вейкслер? Он должен же был стоять тут поблизости. Или?.. или он тоже... может-быть, тоже ранен?.. Он хотел вскочить, узнать, что случилось с Вейкслером... Он хотел!.. Как перегруженный паровой кран его левая рука старалась подняться до головы, и когда ему, наконец, удалось положить руку под затылок, то он с ужасом почувствовал отсутствие твердого сопротивления черепной коробки; он попал в какую-то мягкую, теплую кашицу, и к его пальцам прилипли его волосы, склеенные запекшейся кровью.

— Умереть! — Его обдало холодом от этой мысли — умереть здесь совсем одиноким... А Вейкслер?.. Он должен был знать, что с ним... должен был!..

С нечеловеческими усилиями ему удалось при помощи левой руки настолько приподнять голову, что он мог осмотреться в окопе на несколько шагов вокруг. И вот, он увидел Вейкслера, который стоял спиной к нему, скрючившись, прислонившись правой рукой к стене, прижав левую к животу и высоко приподняв плечи, точно в судороге.

— Кровь?.. Он истекает кровью!.. Или?.. Ведь это же кровь!.. Это могла быть только кровь...

А как странно тянулась она, словно тонкая красная нитка, вверх к Вейкслеру, туда, где он поддерживал свой живот, как-будто он хотел оборвать корни, которые приковывали его к земле.

Нет, он должен увидеть!.. Он вытянул голову вперед — и испустил крик ужаса, когда понял, что несчастный тянул за собой свои внутренности.

— Вейкслер! — пронзительно вырвалось у него с горячим состраданием.

Тот, которого окликнули, медленно обернулся, вопросительно взглянул вниз на Маршнера, бледный, печальный, с испуганными глазами. Только какую-то самую малую долю секунды стоял он так, потом потерял равновесие, покачнулся и упал, скрылся из поля зрения капитана. Их взгляды едва имели время встретиться. Бледное лицо только успело промелькнуть. И все-таки оно было там; оно повисло в воздухе, с ласковой, нежной, печальной линией около тонких губ, с незабываемым выражением тихой, робкой покорности.

— Он страдает!.. точно огнем прожгло Маршнера. — Он страдает!.. заликовало в нем все. И сияние разлилось по его бледному лицу... его слипшиеся от крови пальцы зашевелились в воздухе... пока его голова не откинулась назад и не померкли глаза.

Первые солдаты, пробравшиеся, наконец, к нему через высоко наваленную насыпь, нашли его уже бездыханным; на его губах, несмотря на ужасную рану, застыла радостная, почти счастливая улыбка...

---

*

ПОБЕДИТЕЛЬ.

На большой площади перед старой ратушей, в которой разместился Штаб Армии, и на фронтоне которой красовались в виде кабалистического знака магические буквы В. К. А. (Верховное Командование Армии), ежедневно, с трех до четырех часов пополудни, играл по приказу его высокопревосходительства военный оркестр. Нужно же было как-нибудь вознаградить гражданское население за те немалые неприятности, которые были неизбежным последствием постоя многих сотен штаб-офицеров, а также целого ряда лиц низшего командного состава. Кроме того, по мнению его высокопревосходительства, подобные увеселения сильно способствуют популярности военных и поощряют патриотизм как учащейся молодежи, так и общей массы населения. Заботиться о поддержании настроения публики и о добрых взаимоотношениях между властями гражданскими и военными — это строгий главнокомандующий считал крайне необходимым в интересах успешного ведения войны, разумеется, при условии неприкосновенности его привилегий. Между прочим, при организации этих послеобеденных концертов было принято во внимание

то обстоятельство, что господа офицеры генерального штаба с его высокопревосходительством во главе как-раз в это время имели обыкновение пить кофе.

Под столетними платанами, которые своими огромными, переплетающимися между собой вершинами образовывали как бы церковный свод над всей площадью, сидеть было очень уютно. Осеннее солнце матовым блеском освещало стены и сквозь густую листву бросало золотые кольца на маленькие круглые столики, расставленные длинными рядами перед кафе. Для господ штабных был отведен особый ряд столиков, накрытых белоснежными скатертями, с цветами в маленьких вазах и со свежими, румяными пирожками, которые ежедневно, ровно в три часа, приносил интендантский фельдфебель из большой походной пекарни, где они изготовлялись специально для его высокопревосходительства и его гостей, с подобающей в таких случаях тщательностью и под личным наблюдением самого коменданта.

Красивая, веселая картина открывалась перед музыкальным павильоном; это была настоящая яркая жизнь большого столичного города, такая же оживленная и беззаботно веселая, как в центральных кварталах Вены в прекрасный праздничный весенний день в мирное время. Дети с благоговением стояли вокруг оркестра, отбивали такт и восторженно аплодировали после каждого номера. На улицах, примыкающих к площади, разгуливала молодежь, хихикающие барышни-подростки с гимназистами в разноцветных фуражках, в то время как аристократия, жены местных чиновников и купцов, сидя в соседней кондитерской, внимательно наблюдали за всеми и искренно возмущались кричащими шляпами, ажурными чулками и короткими, почти до колен, юбками пришлого женского элемента,

который, несмотря на все протесты и полицейские предписания, беззастенчиво, средь бела дня, занимался своим позорным ремеслом.

Но главный тон все же задавали приезжие офицеры. Все, кто отправлялся в отпуск или возвращался на фронт, должны были проехать через этот город и во-всю наслаждались своим первым или последним свободным днем.

Малейший недостаток в чем-либо на фронте, будь то в гвоздях, зеленом мыле, санитарных материалах или в пиве, мог быть пополнен легко и скоро в этом ближайшем к фронту городе. Неудачники, или те, кого недолюбливали, получали за свои геройские подвиги знаки отличия; тем дело и кончалось. Того же, кто пользовался благосклонностью начальства, в виде награды, первым долгом посылали для закупок в этот городок. Постепенно у людей выработалась невероятная изобретательность по части обнаружения различных неотложных нужд и, несомненно, существовала таинственная арифметическая пропорция между потреблением отдельными войсковыми частями древесного угля, колесной мази и т. п., с одной стороны, и расстоянием от расположения этих частей до излюбленного этапного пункта — с другой.

Правда, это удовольствие продолжалось недолго. Времени хватало лишь на то, чтобы принять теплую ванну, прогуляться несколько раз в лучшем, заново выутюженном мундире по главным улицам, пообедать и поужинать за покрытым белой скатертью столом и провести короткую ночь в настоящей постели, нежно, вдвоем, или, если уж никак нельзя было иначе, одному и без нежности; а затем в мрачном и нервном раздражении приходилось спешить на страшно переполненный вокзал, и обратно на фронт, в сырую дыру или в раскаленный солнцем блокгауз.

Жажда жизни в этих молодых офицерах, которые шатались по городу с голодными глазами и бунтующей кровью как у водолаза, в один миг наполняющего свои легкие всасываемым им воздухом, мало-по-малу заразила это скучное провинциальное гнездо. Оно запенилось, забурлило, обогатилось и стало легкомысленным; а так как оно находилось в центре мировых событий и претендовало на близкое отношение к ним, то оно было падко на всякие сенсации.

И в этот будничный день толпа сплошной массой прогуливалась перед музыкальным павильоном, празднично разодетая и в праздничном настроении, наэлектризованная мелодиями вальса «Дунайские волны» в великолепном, бравурном исполнении оркестра, с барабанной дробью и громом литавр. Казалось, что все происходит как бы за кулисами большого театра во время представления какой-нибудь трагедии с хорами и массовыми сценами. Кровавой серьезной пьесы, которая разыгрывалась впереди, на сцене, никто не видел, никто не слышал. Здесь, за кулисами, напряженные лица актеров принимали обычное выражение; они отдыхали и погружались в этот красочный водоворот, безгранично довольные, что не имеют никакого представления о дальнейшем ходе трагедии; совсем, как настоящие актеры, которые тоже становятся простыми смертными до своей очередной реплики.

Кто любовался этим оживлением, сидя за кофе, с сигарой во рту, в тени старых деревьев, легко мог поддаться иллюзии, что и та драма, которая разыгрывалась на фронте, была лишь веселым спектаклем. Вся война казалась отсюда каким-то живительным потоком, прибивающим к берегу оркестры музыки и распределяющим между людьми деньги и радость,

потоком, который поддерживают прогуливающиеся офицеры и которым управляют спокойно жующие обед штабные. Его кровавой стороны совсем не было видно! Не слышно было грохота орудий, ни один раненый своим страданием не вносил диссонанса в общую жизнерадостность.

Так, однако, было не всегда. В первые дни, когда ежедневные послеобеденные концерты обладали еще прелестью новизны, все санитарные учреждения, летучие и запасные лазареты выпускали всю свою огромную наличность выздоравливающих и легко раненых в город на гулянье. Но это продолжалось только два дня. Его высокопревосходительство главнокомандующий приказал главному гарнизонному врачу явиться к нему на прием и в резкой форме указал оторопевшему грешнику на то, что такое зрелище скверно влияет на настроение публики. Он выразил надежду, что в будущем все, кто носит повязки, изувечен или вообще способен охладить всеобщий военный энтузиазм, будут находиться в госпиталях.

И его надежда не оказалась тщетной! Никакие неприятности не омрачали больше его блаженства, когда он, с излюбленной сигарой в зубах, смотрел на улицы через головы своих подчиненных. Никто не проходил мимо, не бросив благоговейно-робкого взгляда на всемогущего полководца, глотавшего свой кофе, как все другие смертные, несмотря на то, что он был знаменитый генерал NN, неограниченный повелитель над сотнями тысяч человеческих жизней, которого газеты называли «победитель при * * *». В этом городе не было ни одной судьбы, которой он не мог бы перевернуть одним росчерком пера,—не было ничего такого, что он при желании не мог бы возвысить или повергнуть впрах. Его благосклонность означала поставки и богатство, или

отличия и повышения, его немилость — безнадежность или путь к верной смерти.

Уютно расположившись в большом плетеном кресле, имевшем шансы стать со временем историческим, улыбаясь, сидел всемогущий властелин и шутил с женой начальника своего штаба. Он указал рукой на улицу, где при ярком солнечном свете двигалась толпа, и сказал с сытой, торжествующей веселостью в голосе:

— Вот, взгляните! Эту жизнь я желал бы продемонстрировать господам пацифистам, которые изображают войну не иначе, как в виде ужасной бойни. Посмотрели бы вы, сударыня, на это гнездо в мирное время! Сонное царство, мертвечина! Посыльный на углу зарабатывает теперь больше, чем в прежнее время самый крупный торговец. Пригляделись ли вы хорошенько к молодым людям, приезжающим с фронта? Загорелые, здоровые и веселые! Большинство из них в мирное время гнули спины в какой-нибудь канцелярии; были вялые, золотушные, распутные. Поверьте мне, мир никогда еще не был таким здоровым, как теперь. Если вы, однако, возьмете в руки газету, то вы прочтете про мировую катастрофу: Европа истекает, мол, кровью, и о чем еще только эти господа не вопят.

Он приподнял свои густые, белые брови, и его маленькие, пронизывающие черные глаза забегали, наблюдая за лицами присутствующих.

Вопрос, затронутый его высокопревосходительством, был немедленно подхвачен окружающими. За всеми столиками расточались похвалы по поводу благодетельного влияния войны, высмеивались пацифисты и их бумагомарание. Среди присутствующих не было ни одного, которому война не дала бы, по меньшей мере, двух знаков отличия, материального благополучия и возможности такого широкого образа

жизни, который в мирное время являлся завидным уделом лишь денежных тузов. Война в этом кругу представлялась в образе дедушки-Мороза с мешком на спине, наполненным подарками и грамотами на блестящую карьеру. Правда, иной носил на рукаве траур в память брата или шурина, которым, как армейским офицерам, война показала свою другую сторону — смертоносное лицо Горгоны. Но это лицо находилось далеко — более шестидесяти километров по воздушной линии; а случайная прогулка в этот район была лишь коротким щекотанием нервов, волнующим переживанием. Через какой-нибудь час автомобиль мчался обратно в сферу безопасности, к теплой ванне, и вот опять лакированные ботфорты шагают по асфальтовым улицам. Кто не рукоплескал бы при таких условиях хвалебному гимну его высокопревосходительства?...

Его высокопревосходительство в течение некоторого времени с удовлетворением внимал гулу голосов, вызванному его словами, и постепенно возвратился опять к своим думам. Он сосредоточенно глядел вниз и наблюдал, как солнечные кольца, падавшие на него сквозь листву деревьев, как через решето, играли, сверкая на крестах и звездах, которые тремя густыми рядами украшали левую половину его груди. Все, что повелители четырех могущественных держав могли только пожаловать как видимый знак своей признательности за геройство, презрение к смерти и высокие заслуги, все это полностью красовалось здесь, в этой богатой коллекции. Не существовало такой почести, которой «победитель при * * *» мог бы еще добиваться. И все это дали ему одиннадцать коротких месяцев войны; все это было жатвой только одного военного года. А перед тем тридцать девять лет он тянул служебную лямку в тоскливом однообразии,

в вечной борьбе с мелочными повседневными заботами; он устал от борьбы со всеми тяготами безнадежного мещанского существования, борьбы, напоминавшей усилия стыдливого бедняка, который путем тысячи ухищрений старается замаскировать прореху на своей одежде и все-таки все время видит предательскую дыру, назойливо вылезающую из-под ненадежного прикрытия. В течение тридцати девяти лет он непоколебимо тренировался в бережливости, имея много золота на мундире и очень мало в кармане; собственно говоря, он давно готов был подать в отставку, пресыщенный дешевым удовольствием разыгрывать Нерона на плацу и служить пугалом для молодых офицеров. Но вот, случилось чудо! В мгновение ока старый брюзга преобразился в народного героя, в европейскую знаменитость в «победителя при * * *». Точно в сказке, где при появлении доброй феи заколдованный принц сбрасывает с себя жалкую оболочку и, сияя молодостью, возвращается, окруженный слугами и рыцарями, в свой пышный дворец!

Сияния молодости он, правда, не обрел; но он стал вновь подвижен; богатый событиями год встряхнул его, жизнерадостность и работоспособность сорокалетнего мужчины проснулись в нем и влились в его жилы. Как повелитель, сидел он там, в тени платанов; его счастье было безгранично, целый город лежал у его ног!

Перед кафе дремало огромное серое чудовище с легкими сотни лошадей в грудной клетке, оберегаемое двумя бравыми унтер-офицерами, и ожидало пробуждающего его поворота рычага для того, чтобы со скоростью ветра умчать своего господина в его замок, возвышавшийся над городом и долиной. Куда девались те времена, когда, с генеральскими лампасами на брюках, приходилось на трамвае возвращаться домой

в соответствовавшую занимаемому положению квартиру из шести комнат, которая, в действительности, состояла из пяти комнат и людской?.. Века отдали свои лучшие силы, поколения вложили свой художественный вкус, чтобы наполнить избраннейшими сокровищами этот замок, ныне реквизированный для его высокопревосходительства главнокомандующего армией. Солнце и время неустанно делали свое дело, пока яркий блеск нагроможденного богатства, смягченный до строго выдержанной роскоши, не стал просвечивать как бы через искусно сотканную завесу. Тот, кто в качестве хозяина ежедневно подымался там по широкой лестнице вестибюля и громко диктовал свою волю в барских дремлющих покоях, должен был чувствовать себя королем и переживать войну как дивную сказку. Или существовала когда-либо жизнь, которая больше походила бы на чудо? В кухне царил артист своего дела: старший повар одного из лучших ресторанов в стране, прежде не довольствовавшийся двойным генеральским окладом, теперь же работавший всего за пятьдесят геллеров в день; тем не менее, он прилагал все свое уменье: никогда ему не приходилось так стараться угодить вкусу того, кому он служил, как теперь! Жаркое, которое подавалось к столу, было приготовлено из лучшего куска, который можно было только выбрать из мяса двухсот быков, ежедневно отдававших в районе армии свою жизнь за родину! Почтенные мужи, подававшие его на серебряных блюдах, выкованных учениками Бенвенуто Челлини для предка владельца замка, были генералами своего кельнерского сословия и в мирное время заказывали себе фраки в Лондоне, а теперь, как забитые мальчики, боязливо следили за каждым жестом повелителя! И весь этот заведенный порядок, все это княжеское хозяйство действовали автоматически и совершенно без

денег. Человеку, для которого все кругом трудилось, совсем не нужно было, как другим смертным, прибегать к обычно неизбежной помощи бумажника. Бензин неистощимо циркулировал в жилах трех автомобилей, которые день и ночь дремали на мраморных плитах двора замка; — как из рога изобилия сыпалось все, чего только желали рот и глаза. Ни один служащий не требовал жалованья, все делалось само собой, как в сказочных замках, где каждое желание имеет творческую силу.

Но не только «скатерть-самобранка» была осязаемой действительностью. Чудо не исчерпывалось тем, что заполняло кладовые в течение двадцати девяти дней под ряд. На тридцатый день оно посылало еще и курицу, несущую золотые яйца, и, вместо неприятных счетов поставщиков, в дом сыпались банкноты. Его высокопревосходительство не знал неприятностей; ему не было нужды проявлять бережливость; ему приходилось только со скучающим видом набивать себе карманы кредитными билетами, которые все равно были излишни в этой волшебной стране изобилия.

Одно единственное темное облако набегало иногда на сияющий небосклон этой чудесной страны, и тень его касалась чела его высокопревосходительства. Мысль, что сказка может уступить место действительности, боязнь когда-нибудь пробудиться от этого прекрасного сна — омрачали иногда чистую радость. Не мира боялось его высокопревосходительство. О нем оно вовсе не думало. Но что будет, если стена, искусно построенная из человеческих тел, в один прекрасный день все-таки пошатнется? Если неприятель прорвет все укрепленные позиции, дисциплина сменится паникой и грозная стена распадется на свои составные части, превратится в бегущих, дрожащих за свою жизнь

людей... Тогда «победителю при * * *», всемогущему сказочному королю, придется опять вернуться к разбитому корыту, где-нибудь в глуши проживать свою пенсию, спрятать свои трофеи в скромной квартирке и быть, в ряду других выкинутых за борт людей, лишь знаменитостью за ресторанным столом! Одна неудача, — и мир вмиг забудет свой энтузиазм; другой въедет в этот замок, другой, как победитель, будет бешено мчаться на автомобиле по городу, вся бесчисленная челядь станет подобострастно склоняться перед новым господином, а прежний — сделается посмешищем, разоблаченным пугалом, которое каждый воробей сможет дерзко запачкать!

Маленькая мясистая рука невольно сжалась в кулак, и наводящая страх складка над переносицей, — «признак грозы», которой научились бояться как собственные солдаты, так и неприятель, на мгновенье появилась на его высоком лбу. После этого лицо прояснилось, и его высокопревосходительство гордо посмотрело вокруг себя.

Нет! «Победитель при * * *» не знал боязни. Его стена стояла крепко и не шаталась. Три месяца каждое известие, прибывавшее в отдел разведок, сообщало о колоссальных подготовительных работах в неприятельском стане. Три месяца накапливали они военные припасы и стягивали силы для грандиозного наступления, которое началось с сегодняшней ночи. Генералу было известно то, что весело разгуливавшая на солнце толпа могла узнать из газет на следующее утро, а именно, что там, на фронте, уже в течение двадцати часов кипел ожесточенный бой; что на расстоянии шестидесяти километров от города безостановочно ревут орудия и сплошной град раскаленного железа, шипя, сыплется на его солдат. О трех отбитых пехотных атаках говорилось уже в утренних

сообщениях; теперь же долбила с неслыханной яростью артиллерия, как прелюдия к новым ночным боям.

Ладно, пускай только придут!

Генерал внезапно выпрямился; его лицо было серьезно, как будто в то время, как его пальцы отбивали на столе такт вальса «Дунайские волны», до него доносился ураганный огонь, который, бешено ревел там, на фронте. У него было все подготовлено: людской резервуар был заполнен до краев! Двести тысяч молодых здоровых юношей, цвет призывных, находились в тылу, готовые в нужный момент броситься под колеса машины, чтобы завязнуть в гуще крови и грудах костей. Пускай только придут, и чем больше, тем лучше! «Победитель при * * *» был готов прибавить новую ветвь к своим лаврам, и его глаза сверкали, как множество знаков отличия на его груди.

В это время из-за соседнего стола поднялся его адъютант, нерешительно подошел к его высокопревосходительству и прошептал ему несколько слов на ухо.

Его высокопревосходительство отрицательно покачало головой.

— Это — влиятельная иностранная газета, ваше высокопревосходительство! — настаивал адъютант, и так как его повелитель все еще энергично качал головой, он многозначительно добавил: — Этот господин привез с собой рекомендацию из главного штаба, ваше высокопревосходительство.

Тогда генерал уступил, со вздохом встал и, наполовину шутя, наполовину рассердившись, сказал своей соседке:

— Я предпочел бы основательный картечный огонь!

Затем он покорно последовал за своим адъютантом, милостиво подал руку лысому штатскому, который стремительно вскочил на ноги, весь изогну-

внись, как захлопывающийся перочинный ножик, и предложил ему сесть.

Журналист пролепетал несколько слов восхищения, приоткрыл, приняв выжидательную позу, свою записную книжку, и целый ряд вопросов готов был сорваться с его уст. Но почтенный генерал даже не дал ему открыть рта. Он давно уже заготовил для подобных случаев несколько хорошо продуманных, ни к чему не обязывающих фраз и послушно произнес свою речь — отчетливо, ясно, с небольшими логическими паузами.

Прежде всего, он с похвалой отозвался о своих храбрых солдатах, об их презрении к смерти и превознес их подвиги. Затем, выразил свое сожаление о том, что невозможно воздать по заслугам каждому отдельному герою и, повысив голос, заявил, что родина обязана им вечной благодарностью за такую верность и такое самопожертвование. Ткнув пальцем в густой ряд орденов на своей груди, он подчеркнул, что эти полученные им отличия заслужили, в сущности, его солдаты. Затем он добавил несколько в меру похвальных слов о боеспособности неприятельских солдат и осмотрительности их командного состава; в заключение своей речи он высказал непоколебимую уверенность в конечной победе.

Журналист внимал с благоговением и только время от времени заносил в свою записную книжку краткие заметки. Ведь важнее всего было суметь подметить его манеру говорить и держать себя и обрисовать в нескольких характерных штрихах его личность.

По окончании своей речи генерал как бы скинул с себя мантию официальности и превратился из «победителя при * * *» в светского человека.

— Вы направляетесь теперь на фронт? — спросил он, любезно улыбаясь, своего собеседника, и в ответ на

восторженное «да» глубоко и меланхолично вздохнул.— Вот счастливец! Я могу вам только позавидовать. Видите ли, в том-то и заключается трагизм жизни теперешнего полководца, что он не может сам вести свои войска в атаку! Целую жизнь он готовился к войне, он — солдат душой и телом, а волнения и переживания во время боя ему известны лишь по наслышке.

Сильно обрадованный тем, что ему все-таки удалось услышать субъективное суждение генерала, которое давало ему возможность изобразить всемогущего полководца в самоотверженной роли человека, который не всегда может исполнить то, что он хочет, журналист на одну минуту нагнулся над своей записной книжкой; когда же он вновь поднял глаза, он увидел, к своему крайнему удивлению, что лицо его высокопревосходительства совершенно изменилось. Угрожающие морщины покрывали его лоб, широко открытые глаза смотрели выжидательно куда-то через голову представителя прессы. Тот быстро обернулся и заметил бледного, исхудавшего пехотного капитана, который, оскалив зубы, трясущейся походкой приближался к его высокопревосходительству. Он подходил все ближе и ближе, таращил свои стеклянные, ничего не выражающие глаза и смеялся ужасным идиотским смехом. Испуганный адъютант вскочил из-за своего стола; жилы на лбу его высокопревосходительства вздулись, как канаты; журналист, ожидая покушения, побледнел, как полотно. Страшный капитан, пошатываясь, подошел почти вплотную к ним. Затем остановился, истерически расхохотался и, как ребенок, которому хочется поймать свет, запустил руку в самую гущу орденов его высокопревосходительства.

— Чудесно... чудесно блестит! — пролепетал он, заикаясь, с трудом ворочая языком; и своим беско-

нечно тонким дрожащим пальцем указывая на солнце, он вдруг заорал:— солнце! — а затем, вновь уцепившись за ордена, повторил:— чудесно блестит! При этом его беспокойный взгляд скользил туда и сюда, как бы чего-то ища, и противный скотский смех сопровождал каждое его слово.

Его высокопревосходительство поднял руку, чтобы ударить в грудь человека, который столь бесцеремонно напирал на него; но, поняв, в чем дело, он успокаивающе положил ее несчастному идиоту на плечо:

— Вы наверно пришли сюда из госпиталя, чтобы послушать музыку, господин капитан? — сказал он и подмигнул своему адъютанту. — На трамвае до госпиталя далеко. Сядьте лучше в мой автомобиль, — это будет скорее.

— Автомобиль... скорее!— повторил сумасшедший, продолжая смеяться, и терпеливо позволил взять себя под-руку. Оскалив зубы, он еще раз взглянул на блестящие ордена; затем адъютант увел его с собой.

Генерал следил за ним глазами, пока они не сели в автомобиль. Складка между его бровями — «признак грозы» — приняла угрожающий вид. Он весь кипел от негодования, громя в душе халатное отношение к делу врачей, выпускающих на свободу такого человека. Однако, он сейчас же вспомнил о присутствии штатского, пересилил себя и сказал, пожимая плечами:

— Да-с! Вот это печальная сторона войны. Уже из-за этого, видите ли, полководец должен в настоящее время оставаться далеко позади, где ничто не может повлиять на его сердце. Ни один военачальник не мог бы проявить должной твердости, если бы ему пришлось видеть, как страдают люди на передовых линиях.

— Очень интересно! — благодарно прошептал журналист, сделал пометку в своей книжке и закрыл ее.

Ему приходилось опасаться, что он отнял у его высокопревосходительства слишком много драгоценного времени. Поэтому он попросил разрешения задать еще лишь один вопрос:

— Когда... ваше высокопревосходительство, когда, по вашему мнению, можем мы надеяться на заключение мира?

Генерал вздрогнул, закусил губы и бросил в сторону такой взгляд, от которого каждый штабной N-ой армии готов был провалиться сквозь землю. С видимым усилием постарался он вновь вызвать улыбку на своих устах и, указав рукой на возвышавшиеся на противоположной стороне площади открытые врата старого собора, сказал:

— В ответ на это я могу вам посоветовать лишь одно: сходить вот туда и спросить у господа бога. Он один знает это.

Любезный кивок головы, крепкое рукопожатие, и быстрыми шагами он направился пешком в свой штаб, почтительно приветствуемый толпой.

Когда он входил в дом, грозная морщина глубоко залегла на его лбу. Остановленный им вестовой, дрожа, провел его к комнате главного гарнизонного врача. На несколько минут весь дом затаил дыхание, в то время как голос всесильного владыки гремел по всем коридорам. Он подозвал главного врача, почтенного старика, как какого-нибудь писаря, к своему столу и продиктовал ему приказ, согласно которому всем содержащимся в госпиталях лицам, без различия чина, как больным, так и раненым, строжайше запрещалось покидать стены заведений, в которых они находились. Ибо — заканчивался приказ — больному полагается лежать в постели; те же, кто чувствует себя достаточно окрепшим, чтобы ходить в город и сидеть в кафэ, должны явиться для отправки на фронт, куда их призывает воинский долг.

Беготня со звенящими шпорами взад и вперед и метание громов на съежившегося старого доктора успокоили его гнев. Уже казалось, что буря миновала, когда несчастный случай направил в его руки донесение бригады, которая подверглась сильной атаке неприятеля, понесла при этом крупные потери и была оставлена на позициях лишь для того, чтобы в отчаянной схватке задержать продвижение неприятеля и нанести ему максимальный урон. За этой бригадой неприятеля поджидали фугасы, а в подземных казематах была спрятана целая свежая дивизия для того, чтобы преподнести напиравшему и мнившему себя победителем неприятелю маленький сюрприз. Само собою разумеется, что главнокомандующий не счел нужным объяснить командиру бригады, что она находится на участке, брошенном на произвол судьбы, и что его задача состоит лишь в том, чтобы как можно дороже продать свою шкуру. Чем дольше будет продолжаться борьба, тем лучше! И люди будут сражаться более стойко, поскольку до последнего момента они будут надеяться на прибытие подкреплений.

Этот план исходил лично от его высокопревосходительства; в глубине души он был очень доволен, что, несмотря на три сильнейшие атаки неприятельской пехоты, бригада все еще держалась. Теперь же перед ним лежало донесение, противоречившее всем военным традициям и вновь внезапно поднявшее уже улегшуюся бурю.

Этот генерал-майор, — его фамилию его высокопревосходительство, во всяком случае, хорошо запомнит, — писал с совершенно неподобающей воинскому званию болтливостью и нервностью об ужасном действии ураганного огня; вместо того, чтобы ограничиться цифровыми данными, он сообщал, что его бригада потеряла в бою большую часть своего состава, что сила сопротивления

его людей надломлена, и, в заключение, настоятельно просил подкреплений, так как с остающимся количеством людей он совершенно не в силах отразить предстоящих ночных атак.

— Совершенно не в силах отразить?.. Не в силах?..— Его высокопревосходительство неистово выкрикивал, наводя панику па окружавших его подчиненных, все те же слова, и голос его гремел как фанфара.— Не в силах?.. С каких же это пор командующий участком поучает главнокомандующего о том, что надо делать?..

Побагровев от негодования, он схватил перо и, в ответ на донесение, написал одну только фразу: — «Участок должен быть удержан»! Под этими словами следовала его подпись, выведенная большими прямыми штрихами, которую знал в стране каждый школьник по открыткам, с портретом и факсимиле «победителя при ***». Он собственноручно вручил пакет мотоциклисту для доставки на радио-станцию, так как телефонные провода означенной бригады давным-давно уже были перебиты неприятельским огнем. После этого он, как грозовая туча, пронесся через все помещения, провел полчаса за картами, имел краткий разговор с начальником своего штаба и приказал доставить в замок все вечерние донесения. Когда он, наконец, зычно крикнул: «Покойной ночи, господа», все облегченно вздохнули. Часовые взяли на-караул; шофер завел мотор, и большая машина, загудев, как дикий зверь, понеслась по улицам. Фыркая, с завываниями сирены, молниеносно проскочила она по узким переулкам за город, где замок жемчужной нитью своих яркоосвещенных окон глядел, словно зачарованный, вниз на покрытую туманом долину.

Его высокопревосходительство, наглухо закутавшись в плащ, задумчиво сидел в автомобиле и, как всегда в это время, еще раз перебирал в своем мозгу все

события дня. Вспомнился ему и журналист со своим нелепым вопросом: — когда, ваше высокопревосходительство, надеяться на заключение мира? — «Надеяться?» Мыслимо ли, чтобы такой человек, который в своем кругу должен был, повидимому, играть видную роль, — иначе он не получил бы рекомендации из Главного Штаба, — совершенно не понимал психологии солдата? Надеяться на мир? Что же хорошего мог ожидать полководец от мира? Неужели же этот штатский не понимает, что командующий генерал действительно командует и действительно является генералом лишь во время войны, а в мирное время представляет собой только что-то вроде строгого учителя с вышитым золотом воротником, идола, который от скуки иногда кричит до хрипоты. И к этой скучной обыденщине он стал бы стремиться? Ради господ штатских — «надеяться» на то время, которое вновь использует победоносного вождя N-ой армии для инспекторских смотров, которое вновь обречет его на другую, безпадежную, борьбу между слишком мизерным окладом и желанием играть роль и блистать в обществе, борьбу, из которой победительницей всегда выходит нужда?..

Генерал сердито откинулся на подушки и удивленно привскочил, когда автомобиль внезапно остановился посреди дороги. Он не успел еще спросить шофера, в чем дело, как первые крупные капли дождя уже забарабанили по козырьку его фуражки. Это была та самая гроза, которая бойцам на фронте уже в полдень подарила короткую передышку.

Оба унтер-офицера соскочили и быстрыми движениями стали натягивать над кузовом брезентовый верх. Его высокопревосходительство приподнялся и, держа ухо по ветру, стал напряженно прислушиваться. К шуму дождя совсем явственно, но очень тихо, при-

мешивался глухой, еле слышный стук, как далекое эхо рубки леса.

Ураганный огонь!..

Глаза его высокопревосходительства вспыхнули. По только-что еще сердитому лицу промелькнуло выражение внутреннего удовлетворения.

Слава богу! Война еще продолжается!

ТОВАРИЩ.

(Из дневника.)

Мировая война и меня наградила товарищем. Лучшего не найти.

Прошло ровно четырнадцать месяцев с тех пор, как я познакомился с ним в лесочке, около дороги в Горицу. С первого же дня он ни на шаг не отходил от меня. Много сотен ночей провели мы вместе без сна, и все еще он неизменно шагает рядом со мной, нога в ногу.

Не то чтобы он был назойлив! Наоборот, он добросовестно соблюдает дистанцию, отделяющую его, как рядового, от офицера, ранг которого он обязан почитать во мне. В соответствии с уставом, он держится всегда в трех шагах от меня. Почтительно прижавшись где-нибудь в уголку или за столбом, он осмеливается лишь взглядом застенчиво следить за мною.

Он желает только присутствовать. Он требует только, чтобы я терпел его вблизи себя; — всегда и повсюду! Когда мне иногда случается закрыть глаза, чтобы побыть опять одному, на несколько минут остаться наедине лишь с самим собой, как раньше, до войны, он пристально смотрит на меня из своего угла, с укоризненной настойчивостью, настолько упорно

и пронизывающе, что его взгляд жжет мне спину, внедряется мне под веки, так что я как бы насквозь пропитан им и, недоумевая, ищу его, когда он некоторое время не напоминает мне о своем существовании.

Он въелся в меня, расположился во мне по-домашнему; он сидит во мне, как таинственный волшебник в кинематографе, пребывающий в черном ящике и вращающий над головами зрителей рукоятку, и воспроизводит свой образ, при посредстве моих глаз, на каждой стене, каждой завесе, каждой поверхности, на которую падает мой взгляд.

И даже там, где нет фона для его изображения, даже тогда, когда я из окна напряженно гляжу вдаль, чтобы избавиться от него на короткое время, — даже тогда он парит надо мною, как-будто его образ насажен на невидимое древко моих взглядов, точно хоругвь, покачивающаяся во главе крестного хода. Если бы существовали Х-лучи, проникающие в череп, то в моем мозгу нашли бы его портрет, слегка расплывчатый, как фигуры на старых гобеленах.

Я припоминаю свою поездку в мирное время из Мюнхена в Вену в «ориент-экспрессе», мимо осенней прелести баварских озер, через золотую чащу увядающего Винервальда. И вся эта чудесная картина, которую я, удобно расположившись, жадно впитывал в себя со сладострастным упоением, неизменно искажалась гадким черным пятном: воздушным пузырьком в оконном стекле моего купэ. Так и образ моего настойчивого боевого товарища бродит по лесам и степям, останавливается, когда останавливаюсь я, прыгает по лицам прохожих, по мокрому от дождя асфальту, по всему, чего коснется мой взгляд, становится между мной и миром, как тот воздушный пузырек, который все, что я видел, обращал в фон для себя же самого.

Правда, врачи думают об этом иначе. Они не верят, что он живет во мне и что он предан мне. Они говорят, что, с научной точки зрения, зависит только от меня положить конец его преследованиям и прикончить нашу дружбу, подобно тому, как я это сделал в ту поездку, когда я в ярости вышиб стекло с назойливым пузырьком. Врачи не верят в то, чтобы человек мог после смерти соединиться с другим и неумолимо продолжать жить в другом. Они говорят: кто стоит у окна, тот должен видеть находящийся на противоположной стороне дом, а отнюдь не стену за своей спиной.

Врачи верят только в то, что есть. Что можно носить в себе мертвеца, поставить его перед собою, так, что он заслонит собой какую-нибудь картину — такого суеверия господа врачи не могут допустить. Ведь в их жизни смерть не играет роли, так как больной, который умирает, перестает быть больным. И что знает день о ночи, которая, однако, вечно сменяет его?

Но я-то знаю, что не я всю свою жизнь насильно влачу за собой мертвого товарища. Я-то знаю, что этот мертвый живет во мне сильнее, нежели я сам! Возможно, что те фигуры, которые пробегают по обоям, скрючившись сидят в углах, смотрят с темного балкона в освещенную комнату и постукивают в окно так громко, что слышен звон стекла, — только галлюцинации и больше ничего. Откуда они?.. Мой мозг создает картину, мои глаза заботятся о проекции,—за рукояткой же сидит мертвый! Он режиссер фильмы; представление начинается тогда, когда это ему угодно, и не кончается до тех пор, пока он вертит рукоятку. Как же я могу не видеть того, что он мне показывает? Если я закрою глаза, то картина появляется на внутренних стенках моих век, и драма

продолжается во мне, вместо того, чтобы мелькать вдали, на дверях и обоях.

Говорят, я должен быть сильнее его! Но нельзя же убить мертвого; это должно ведь быть известно и господам врачам!

Разве не висят в музеях картины Тициана и Микель-Анжело, написанные несколько столетий тому назад? А картины, которые умирающий в невероятных предсмертных муках высек в моем мозгу четырнадцать месяцев тому назад, должны исчезнуть только потому, что тот, который их создал, лежит в своей солдатской могиле?.. Когда произносят слово «лес», кто не видит перед собой какого-нибудь леса, по которому он когда-то и где-то гулял, видел из окна поезда или на сцене? В чьем воображении, при разговоре о покойном отце, не вырисовывается давно истлевшее лицо, то строгое, то ласковое, то застывшее в предсмертной неподвижности? Чем было бы все наше бытие без этих видений, которые, по нашему вызову, как в свете лучей прожектора, на мгновение поднимаются из мира забвения?

Болезнь?.. Конечно! Мир изранен и не терпит никакого лозунга, никакой картины, которая не имеет отношения к братским могилам. Ни на одну минуту мой товарищ, сидящий во мне, не может успокоиться, потому что все, что происходит, освещает его, как блеск молнии. Первая утренняя газета: потопленные суда, отбитые атаки. И на экране уже мелькают задыхающиеся, борющиеся люди, скрюченные пальцы, которые, высовываясь из пенящихся волн, в последний раз хватаются за жизнь, искаженные бешенством и страданиями лица, — все вперемежку. Каждый подслушанный разговор, каждая витрина, каждое дыхание: вызов! Вызовом является и тихий ночной покой! Или разве не выстукивает каждое движение секундной

стрелки предсмертное хрипение тысяч людей? Разве не достаточно знать об оторванных челюстях, перерезанных глотках, вцепившихся друг в друга трупах, чтобы слышать ад, бушующий там, по ту сторону толстой воздушной стены?

Если бы тот, кто зная наверняка, что в соседнем доме убивают кого-то, в то время, как он сам спокойно отдыхает на мягких подушках, — вскочил с бешено бьющимся сердцем, — неужели он считался бы больным? А разве можно не чувствовать себя соседом тех местностей, где тысячи людей корчатся в страшных мучениях, где земля подбрасывает к небу истерзанные части тел, а небо железными кулаками стучит по земле? Разве можно жить вдали от своего собственного, распятого «я», когда весь мир содрогается от вызовов?..

Нет!

Больны другие. Больны те, которые с сияющими глазами читают сообщения о победах и за горами трупов видят сверкающие завоеванные квадратные километры, те, которые между собой и своим человеколюбием воздвигают стену из разноцветных знамен, чтобы не знать, какое преступление совершается над подобными им людьми в той неведомой стране, которую они называют «фронтом». Болен всякий, кто еще может мыслить, говорить, спорить, спать, зная, что другие, придерживая руками свои собственные, вываливающиеся наружу, внутренности, ползут по полю, подобно полураздавленным червям, для того, чтобы, как собаке, околеть по пути к перевязочному пункту, в то время, как где-то далеко тоскующая, страстная женщина одиноко томится рядом с пустой постелью. Больны все те, кто может не слышать стонов, скрежета зубов, воя, треска, грохота, плача, проклятий и последнего вздоха, — потому что вокруг них журчит

повседневная жизнь или господствует блаженная ночная тишина.

Больны глухие и слепые, а не я!

Больны тупые, в душе которых нет сострадания; больны те многие, которые, как скрипка без струн, являются лишь эхом для каждого гула. Или может быть з д о р о в ы й человек, обладающий слабой памятью, как испорченная светом фотографическая пластинка, не воспринимает больше ничего?.. Не являются ли именно воспоминания глубочайшим смыслом человеческого бытия, тем богатством, которого лишены звери, потому что они не сохраняют в себе прошлого и не могут его вновь воссоздать в себе?

Неужели же нужно лечить меня от моей памяти, как от болезни? А ведь без моей памяти я не был бы больше самим собой, так как каждый человек дышит воспоминаниями и живет лишь до тех пор, пока он полон ими, как заряженная фотографическая камера. Если бы я не мог сказать, где я провел свою молодость, каков был цвет волос моего отца, какие были глаза у моей матери, и не мог для ответа на эти вопросы перелистать своей памяти, чтобы отыскать соответствующую картину, как скоро был бы поставлен диагноз: «Старческий маразм» или «слабоумие»! Да разве для того, чтобы тебя считали «умственно нормальным», необходимо обращаться со своим мозгом, как с грифельной доской и губкой, по сигналу выбрасывать картины, которые выжгло в душе ужасное горе, как вырывают страницы из альбома с фотографиями?..

Человек умер на моих глазах, после тяжких страданий, после жестокой борьбы между двумя титанами: Жизнью и Смертью. И потому что я, запечатлев в своем мозгу все фазы этой борьбы, как моментальные снимки,—вновь должен их переживать

до тех пор, пока жизнь неумолимо раскрывает эту серию, — потому только я болен?.. Я болен? А те, которые пропускают, словно пустые, те страницы, где описывается, как разрывают на куски, терзают и топчут их братьев, как медленной смертью погибают люди, запутавшиеся в проволочных заграждениях, — те здоровы?..

Да скажите же мне на милость, господа врачи, с какого момента я должен начать забывать? Должен ли я забыть, что я был на войне? Забыть ту минуту, когда на грязном перроне мой сынишка, бледный, с плотно сжатыми губами, стоял рядом со своей матерью, а я из окна вагона с напускной веселостью болтал о том, как мы опять встретимся, в то время, как мои глаза жадно всматривались в черты жены и ребенка и мой мозг впитывал в себя их образы, подобно тому, как глотка, пересохшая после многодневных переходов, всасывает в себя вожделенную влагу? Забыть то горькое, как желчь, удушье, когда пасть вокзала медленно закрылась и поглотила моего ребенка, жену и мир?

Неужели же мне вырвать из моей памяти, как ненужный сор, всю эту поездку в царство смерти, которую мне пришлось совершить в поезде, переполненном отцами семейств, уезжавшими на воскресный отдых на дачу? Неужели я должен забыть, что я чувствовал, когда после каждой остановки вокруг меня становилось все тише и тише, и жизнь как бы отделялась от меня, пока в полночь в купэ не осталось никого, кроме одного - двух спящих солдат, а вокруг мигающего света керосиновой лампы витало бледное, искаженное горем, заплаканное детское личико? Неужели же нужно быть больным, чтобы это расставание с домашним уютом и теплом, эту поездку, конечной целью которой были ненависть и опасности,

носить в себе, как незаживающую рану? Что может быть непостижимее, что может быть безумнее этого: мчаться ночью со скоростью шестидесяти километров в час, убегая от всего любимого, от полной безопасности, переходить из одного поезда в другой, потому что он, и только он, направляется туда, где невидимые машины извергают раскаленное железо и смерть закидывает свою необъятную сеть, сплетенную из стали и свинца? Кто вырвет из моей души воспоминание о маленькой грязной станции, зябнущих, заспанных солдатах, которые не чувствуя в крови ни упоения, ни музыки, глядели с завистью на поезд, наполненный штатскими, который, залитый светом, весело свистя, отправлялся в тихие края; кто сможет когда-либо вырвать из моей души эту пересадку, при сумрачном рассвете, пересадку на пути к смерти.

И если бы я мог вычеркнуть эту первую бесконечную ночь, как завершенное дело, то мне все-таки осталось бы еще пережить утро, когда поезду пришлось остановиться перед семафором на открытом месте, посреди большого, окропленного утренней росой луга, чтобы пропустить санитарные поезда? Как отогнать мне это воспоминание о целом облаке запаха крови и лизоля, выпущенном из ноздрей дракона на этот приветливый луг? Не будут ли вечно мозолить мне глаза эти бесконечно длинные змеи, лениво ползущие, точно пресыщенные растерзанным человеческим мясом? Из сотни окон сверкали белые повязки, смотрели стеклянные, тупые глаза; лежа, сидя на корточках, нагроможденные друг на друга, тело к телу, раненые висели даже на подножках, словно кровавые гроздья, как переливающийся через край избыток горя и страдания. И эти жалкие остатки силы и юности, эти измученные, искалеченные люди смотрели с жалостью — да, да, с жалостью! — на наш поезд. Разве я действи-

тельно болен, потому что эти взгляды горячего сочувствия, которыми окидывали нас, здоровых, статных молодцов, эти залитые кровью калеки, неизгладимо горят в моей душе? И это леденящее кровь предчувствие того ада, откуда лучше бежать обмотанным в окровавленные тряпки, нежели целым и невредимым итти ему навстречу, этот страх, ставший теперь определенным переживанием, фактом, воспоминанием, можно просто стряхнуть с себя, несмотря на то, что такие поезда все еще изо-дня в день встречаются друг с другом?.. Каждое, случайно брошенное слово о передвижении войск, каждое известие о новых боях так же безошибочно, как удар по клавише, вызывает вполне определенный звук, раскрывая картину этой первой реальной встречи с войной, и я вижу: ранним летним утром на освободившемся железнодорожном полотне, на камнях и шпалах алеют капли крови, указывая дорогу на фронт.

«На фронт!»

Неужели я действительно болен, потому что я не могу ни произнести, ни написать этого слова без того, чтобы пламенная ненависть не сжимала мне горло? Не те ли сошли с ума, которые с какой-то смесью благоговения, романтической тоски и робкой симпатии, как загипнотизированные, уставились на эту фабрику, производящую механическим способом трупы и калек? Не было ли бы умнее исследовать, при случае, душевное состояние и этих других? Неужели же я должен открыть господам врачам, охраняющим меня с таким состраданием, тайну, что виною всему являются только несколько слов, выпущенных на человечество, как свора бешеных собак?

«Фронт» — «Враг» — «Геройская смерть» — «Победа», — высунув языки и вращая глазами, несутся эти псы по всему миру. Миллионы людей, которым пре-

дусмотрительно сделали прививки против тифа, оспы и холеры, вы доводите до исступления! Миллионы людей заполняют, как скот, вагоны, — как у нас, так и у неприятеля, — с пением мчатся друг другу навстречу и, сойдясь, рубят, колют, пристреливают друг друга, взрывают друг друга на воздух, отдают свое мясо и свои кости для того кровавого теста, из которого будет испечен пирог мира для тех счастливцев, которые жертвуют отечеству шкуры своих телят и быков с прибылью в сто процентов, вместо того, чтобы рисковать собственной шкурой за тридцать геллеров в день!.. Представьте себе, что слово «война» еще не выдумано, не освящено еще тысячелетним обычаем в качестве чудовищной, бросающейся в глаза приманки. Кто осмелился бы заменить недостающее слово «объявление войны» следующей речью:

«После долгих, бесплодных переговоров, наш представитель в соседнем государстве выехал сегодня оттуда. Стоя у окна своего салон-вагона, он в последний раз поклонился провожавшим его лицам и не будет больше встречаться с ними до тех пор, пока вы не обратите в трупы многие сотни тысяч мужчин соседнего государства. Итак, вперед! Спешите в ваши товарные вагоны, на которых написано: «6 лошадей или 28 человек»! Поезжайте навстречу им, этим другим! Убивайте их, режьте им горло, живите, как дикие звери, в сырых пещерах, гибните, дичайте, набирайте вшей — до тех пор, пока мы не найдем, что настало время снова сесть в салон-вагон и в каком-либо роскошном дворце важно и степенно спорить о том барыше, который эта резня должна дать нашим фабрикантам и купцам. Тогда вы можете,—поскольку вы еще не гниете под землей или не стучитесь, будучи нищими, из двери в дверь,—снова возвратиться домой к вашим почти погибшим от голода семьям и можете — нет, должны! —

приняться за работу, с удвоенным усердием, но с меньшими претензиями, чем раньше, для того, чтобы быть в состоянии своим потом и своими лишениями оплатить сапоги, изношенные вами в сотнях опаснейших переходов, и одежду, истлевающую на вашем теле!»...

Дурак, кто такими словами старался бы завербовать себе последователей! А разве не дураки те, которые мерзнут, голодают, убивают других и дают себя убивать только потому, что им внушили, будто иначе и быть не может, когда бешеный пес — война сорвется с цепи и начнет грызть земной шар?

Такими ли были те войны, от которых к нам перешла «война»? Разве «война» и «добыча» не обуславливались взаимно? Разве ландскнехта не окрыляла надежда на разгульную жизнь, — надежда добыть женщин, червонцы и коней с золочеными седлом и уздечкой? Разве это тупое подчинение железной дисциплине, это подставление своей шеи, эта безучастная игра ва-банк с чудовищами, которые из голубой дали мечут свои адские чемоданы, — могут еще быть названы «войной»? Войной называлось столкновение избытков сил — драчунов всех наций. Молодежь, для которой городок становился мал, а камзол — слишком тесен, — уходила на чужбину, опьяненная вожделениями своей собственной буйной силушки. А теперь тот же термин употребляют тогда, когда людей, уже обзаведшихся хозяйством и семьей, отрывают от дома, насильно отправляют на фронт и требуют, чтобы они, беззащитные, с тупой покорностью выполняли роль статистов в этой дуэли военных промышленностей?..

Разве допустимо прикрываться словом «война», когда вместо мужества и силы конкурируют дальнобойность орудий и разрушительная сила снарядов, а также женский и детский труд при обточке гранат? Кто же осмелится ныне без благоговения вспомнить

тиранов мрачных времен, отдававших беззащитных людей на съедение львам и тиграм, если он сравнит их с теми, которые управляют этой борьбой между человеком и машиной — точно представлением в театре марионеток — при помощи телеграфной проволоки, окрыленными радужной надеждой, что наш запас человеческого мяса превзойдет наличие стали и железа у противника?

Нет! Все слова, существовавшие до начала этой бойни, слишком красивы и слишком честны, как, например, и слово «фронт», которое я научился ненавидеть! Разве можно противопоставить свой «лоб» [1] орудиям, укрывающимся за горами и посылающим смерть на расстояния дневных переходов, или сапам, которые незримо подкрадываются на глубине десяти метров под землею? Ваш «фронт» — это какая-нибудь конечная станция, разрушенное снарядами небольшое здание, за которым взорваны рельсы, потому что поезда уже не идут дальше, а возвращаются назад, выгрузив свой запас свежего пушечного мяса — здоровых, загорелых людей, — чтобы потом, после обработки их машиной, снова нагрузить их с окровавленными конечностями и оцепеневшими лицами.

Когда я под вечер сошел с поезда на этой конечной станции, на земле, прислонившись к железной перронной решотке, сидел бородатый солдат с перевязанной правой рукой. Увидев меня в новеньком блестящем обмундировании, он левой рукой нежно погладил свою раздробленную правую руку, окинул меня злым, полным ненависти, взглядом и крикнул, оскалив зубы:

— Да, да, ваше благородие! Здесь делают окрошку из человеческого мяса!..

---

[1] По-французски слово front значит «фронт» и «лоб». Отсюда: фронтальная атака — лобовая атака.

Неужели могу я забыть эту злобную усмешку, которая застыла на его страдальческих устах? Неужели я болен, потому что больше не могу слышать слова «фронт» без того, чтобы не звенело в моих ушах, как неумолимое эхо: «окрошка из человеческого мяса». Или же все-таки больны те другие, которые вместо того, чтобы слышать слова «окрошка из человеческого мяса», жадно впитывают в себя трусливое пустословие современных бардов войны, старательно рекламирующих, словно коммивояжеры какого-нибудь винного погреба, марку «Мировая война», потому что благодаря этому они могут кататься, словно главнокомандующие, в автомобилях вместо того, чтобы сидеть под начальством какого-нибудь ефрейтора в сырых окопах, ежеминутно ожидая смерти?

Неужели в самом деле существуют еще люди из плоти и крови, которые в состоянии без пены у рта читать газеты? Можно ли, представляя себе жуткую картину подстреленных двуногих, которые под проливным дождем медленно, с тупой покорностью, истекают кровью на покрытой непролазной грязью равнине, — верить подлому вранью о безупречной постановке подачи первой помощи, об удобных санитарных повозках на рессорах и о шикарно обставленных окопах, — вранью, благодаря которому все эти щелкоперы освобождены от военной службы?

Люди возвращаются домой с печальными, удивленными глазами, в которых еще отражается смерть; пугливо, как лунатики, ходят они по сверкающим улицам. В их ушах еще звучит их собственный яростный звериный вой, который они присоединили к реву ураганного огня, чтобы от душевной боли не разорвалась их грудь. Они приезжают насквозь пропитанные ужасом, под еще свежим впечатлением оцепеневших взглядов заколотых и убитых ими вра-

гов, — и не осмеливаются открыть рта и отвести свою душу, потому что все кругом, даже их жены и дети, с болтливым любопытством тараторят только о гранатах, газовых бомбах и штыковых атаках. Так протекают дни отпуска, и возвращение на фронт является для них окончанием пытки: быть заподозренным в трусости оставшимися в тылу, для которых слова «умирать» и «убивать» стали общим местом, не вызывающим ни малейшего трепета.

Так пусть же будет так, господа врачи! Пусть будет честью слыть буйным сумасшедшим среди этих мерзавцев, которые, спасая собственную шкуру, так чудно закалили человечество, отменили сострадание и ввели в обычай гордиться чужими мучениями, вместо того, чтобы, будучи единственными посредниками между нуждою и властью, пробуждать мировую совесть; вместо того, чтобы с рупором в руках кричать на самых оживленных площадях «Окрошка из человеческого мяса», до тех пор, пока у всех, у кого отцы, мужья, братья, сыновья отправились на фабрику трупов, волосы не встанут дыбом и голоса всего мира не сольются в один стихийный гул!..

А теперь, — если бы вы были только поблизости, господа врачи, — я мог бы вам показать моего товарища, вызванного к реальному бытию огненной струей ненависти к сообщениям с фронта и равнодушию тыла. Я чувствую, что он стоит за моей спиной; его лицо находится передо мною на белом листе бумаги, как тусклый водяной знак, и мое перо бегает с судорожной быстротой, чтобы покрыть буквами хотя бы его глаза, с укором устремленные на меня.

Его лицо, большое расплывчатое, страшно искаженное, резко выделяется, медленно разбухая, на бумаге, как почерпевший от времени рисунок.

Точно таким же увидели его в то летнее утро лежащим на опушке леса и три журналиста, — и с досадой повернули, почти с военной выправкой, «налево кругом, марш!» Их посещение ведь относилось ко м н е! Мне предлагалось одолжить им экипаж и лошадей, так как автомобиль, который должен был промчать их с быстротой молнии через опасную зону, застрял со сломанною осью на шоссейной дороге.

Это были необычайно любезные джентльмены в сказочно широких галифе и в дорожных фуражках, словно только-что сошедшие с фильмы из серии «Шерлок Холмс»! Они предлагали взять с собою письма и передать поклоны, нашли, что у меня в окопе восхитительно, смеялись во всю глотку над моим матрацем из ивовых прутьев и стали особенно усердно выражать свою благодарность, когда экипаж был подан еще до начала ежедневной бомбардировки итальянцев.

Когда они выезжали из леса, им пришлось снова проехать мимо того человека, который со своим изуродованным лицом неподвижно сидел на лужайке. Но, словно по команде, они опять отвернулись и, возбужденно жестикулируя, сосредоточили все свое внимание на разрушениях, причиненных накануне атакой эскадрильи неприятельских аэропланов.

Я начал задыхаться, как-будто я долго бежал в гору. Место, на котором я стоял, показалось мне вдруг чуждым и изменившимся. Разве это был еще тот самый лес, в котором часто с треском разрывались гранаты, вокруг которого, словно коршуны, носились, широко распустив крылья, аэропланы, забрасывая его бомбами и стрелами, в то время как заградительный огонь пулеметов градом хлестал по листве? И из э т о г о леса выезжали три человека, здоровых, невредимых, весело размахивающих фуражками?.. Где же была та стена, которая заставляла нас, других, оста-

ваться под ломающимися сучьями?.. Не было ли там ворот, которые раскрывались только перед бледными, провалившимися щеками, лихорадочно блестевшими глазами или окровавленными конечностями?..

Гладко катился экипаж по коричневому утоптанному полю, и для полноты картины какой-нибудь увеселительной поездки недоставало лишь ярко-красной обложки путеводителя Бедекера.

Да, эти возвращались домой!

Быть-может, к жене и детям?...

Болезненное подергивание, словно взгляд был прикован к колесам... Затем, тело откинулось, — точно оторвавшись, — обратно в пустоту, и... и в это мгновение, когда душа, как бы вспаханная удалявшимся экипажем, обнажилась, беззащитная в порыве тоски,— внезапное переживание кинулось на меня, одним мощным прыжком, одной единственной гримасой поразив меня на всю остальную жизнь неизлечимо!

Ничего не подозревая, я подошел к раненому, к которому те трое так демонстративно повернулись спиной, как-будто он не имел отношения к интересному музею гранатных воронок, который они с любопытством наскоро осматривали. Он сидел на корточках рядом с грязным, потрепанным флажком красного креста, зажав голову между приподнятыми коленями, и не слышал меня. За ним виднелось круглое, кофейно-коричневое пятно, которое словно арена, выделялось среди едва позеленевшей лужайки. Раненые, которые ежедневно на рассвете собирались сюда, чтобы быть отправленными в лазарет на повозках, доставлявших нам боевые припасы и забиравших на обратном пути искалеченных, вытоптали это пятно на лужайке, как протирают любимый уголок на семейном диване.

Скольких я уже видел сидящими в такой же позе, иногда десять-двенадцать часов под ряд, если повозки

отъезжали слишком рано или были переполнены. Веселых ребят с раздробленными руками или ногами и с придуманными во время войны словами «выстрел в тысячу гульденов» на бледных, но все же улыбающихся устах, — окружали с нескрываемой завистью в лихорадочно горящих глазах легко раненые и тифозные больные, которые охотно дали бы тысячу гульденов и один из своих членов в придачу, лишь бы иметь такую же уверенность, что им не придется больше вернуться обратно. Скольких видел я катающимися по земле, грызущими ее от боли; скольких, наполовину похороненных в размякшей глине, — стонущими и рыдающими, с распоротыми животами, под проливным дождем, заглушающими завывание бури своими отчаянными криками!..

Но этот, казалось, был только легко ранен в правую ногу. Сквозь кое-как сделанную перевязку в одном месте просачивалась кровь, и поэтому, кроме коньяка и папирос, я предложил ему и свой перевязочный пакет. Но он не пошевельнулся. Только после того, как я положил ему руку на плечо, он приподнял голову — и вид его лица отбросил меня назад, словно удар кулака в грудь.

Рот и нос были сдвинуты с места; они как бы вскарабкались вверх по правой щеке, которую уже нельзя было больше назвать щекой. Там вздувался кусок сизо-багрового мяса, покрытый кожей, которая была натянута до того, что грозила ежеминутно лопнуть! Вся правая сторона была скорее похожа на экзотический плод, нежели на человеческое лицо; а слева, из глубины беспросветной, трепетной тоски, робко и печально глядел на меня его единственный глаз. Словно арканом сдавил мне горло внезапный испуг!

Что это?.. Такого ужаса даже эта лужайка, эта долина смерти, еще не видывала. Даже страшное воспо-

минание о другом, который несколько дней тому назад, на том же самом месте, бережно держал в сложенных как бы для черпанья воды руках свои собственные внутренности, поблекло при виде этой головы двуликого Януса, которая слева казалась олицетворением мира и кроткой человечности, а справа — войны и ненависти.

— Шрапнель?.. робко и вопросительно пробормотал я.

Ответ был невнятный. Я мог только понять, что его правая нога раздроблена пулей дум-дум. Но что означало его бормотанье о какой то удочке, которое повторялось каждый раз, когда он дрожащей рукой касался своей пылающей щеки?..

Я не мог его понять, так как все пережитое им еще так сильно кипело в его крови, что он говорил о нем, как бы о тут же происходящем, обращаясь ко мне как к очевидцу. Его мужицкий мозг не в силах был понять, что могли существовать люди, которые ничего не видели и не слыхали об его мучениях. Такимобразом, постепенно выяснилась его трагедия, скорее отгаданная мною из коротких фраз, грубых проклятий и хриплых стонов, нежели рассказанная им.

После отбитой атаки на неприятельский окоп, он в течение целой ночи без чувств пролежал со своей раздробленной ногой перед собственным проволочным заграждением. И вот, на рассвете, его поймали на удочку. Удочку состоящую из железного крюка и толстой веревки при помощи которой зацепляют и втаскивают в траншеи трупы своих и врагов, чтобы закопать их раньше, чем жаркое солнце примется за свою работу. Этим крюком, побывавшим в сотнях трупов, какой-то пентюх разорвал ему щеку, пока более опытной руке не удалось его выловить. А теперь он покор-

нейше просит поскорее доставить его в лазарет, так как он опасается за свою ногу, и его пугает перспектива остаться на всю жизнь калекой.

Я побежал, как от погони, прыгая через камни и пни, прямо через лес в ближайшую воинскую часть. Увы! Во всем лесу нельзя было сыскать ни одной повозки. И подумать только, что свой последний экипаж я отдал этим трем типам!..

Почему я не предложил им захватить с собою единственного раненого, лежавшего на лужайке, и доставить его проездом в полевой лазарет? Почему эти трое сами не подумали исполнить долг человеколюбия? Почему?..

Кулаки мои сжались в бессильной злобе, и я поймал себя на том, что машинально схватился за кобуру, как-будто я еще мог пулями снять этих весельчаков с тележки!

Запыхавшись, разгоряченный продолжительной беготней, пошатываясь, с дрожью в коленях, возвращался я назад; надломленный, словно я нес на своих плечах десятипудовую картину, изображающую людей, которые в виде спорта выуживают человеческую падаль. Я ощутил странное, давным-давно забытое удушье и щекотанье в горле, когда, возвратясь обратно, я вынужден был внимать тихим стонам беспомощного.

Он уже был не один. Во время моего отсутствия к нему присоединилась небольшая группа легко раненых. Из-за стволов деревьев я видел, как они сидели в кругу на лужайке, в то время, как выуженный, страдая от невыносимой боли, скакал то туда, то сюда, поддерживая раненую ногу рукой и мотал головой из стороны в сторону.

Около полудня я послал на поиски своих унтер-офицеров, обещав им щедрое вознаграждение за повозку,

а сам побежал с бутылкой коньяка под мышкой, опять на лужайку.

Теперь он уж больше не плясал. В кругу других он стоял на коленях, согнув туловище и положил свою голову, как посторонний предмет на землю.

Когда он вдруг с яростным ревом снова вскочил с места, то даже среди раненых, которые сидели до тех пор совершенно безучастно, погруженные в собственные страдания, пронесся испуганный шопот.

Ничего человеческого в нем больше не оставалось!.. Кожа, не выдержав дальнейшего напора, лопнула. Как лучи на компасе, разбегались во все стороны широкие трещины, а в середине, пылая, лезло наружу обнаженное мясо.

А как он кричал!.. он стал стучать кулаком, словно молотом, по этому огромному багрово-синему кому, пока под ударами своей собственной руки он с воем вновь не повалился на колени.

Было уже темно, когда его — наконец-то! — погрузили на повозку. Но лишь только ночной туман начал медленно заволакивать лес, а я, укутанный в целую гору одеял, единственный из всех лежал, не смыкая очей, окруженный черными стволами, которые во мраке, казалось, надвигались друг на друга, — как он возвратился вновь, неподвижно вытянулся передо мной, весь залитый лунным светом, и его замученная, величиною с тыкву, щека обрисовалась голубоватым блеском на черном фоне деревьев. Словно блуждающий огонек вспыхивала она то здесь, то там — каждую ночь — освещала каждый мой сон так, что я пальцами раздвигал веки до тех пор, пока мое тело после десяти ужасных ночей не выдержало, и, в виде бьющейся в судорогах, воющей массы, не было доставлено в тот же полевой лазарет, в котором он умер от заражения крови.

И вот теперь я сумасшедший! Черным по белому написано это на дощечке у моего изголовья. Когда я начинаю бунтовать и требую своего освобождения из этого дома, в который нужно было бы запереть других, меня успокаивающе похлопывают, как пугливую лошадь.

А те, другие, — те свободны! Из моего окна я гляжу поверх садовой ограды на улицу и вижу, как они спешат, кланяются, жмут друг другу руки и толпятся перед витринами с последними сообщениями с театра войны. Я вижу кокетливо одетых женщин и девушек, которые, сияя гордостью, выступают рядом с мужчинами, на груди которых красуется крест, изобличающий в них убийц. Я вижу вдов с развевающимся флером, которые все еще не теряют терпения, вижу готовых к выступлению молодых парней с цветами на касках. И никто не возмущается! Никто не видит в темных углах измученных, истерзанных, выуженных людей с распоротыми животами, или отливающими синеватым блеском щеками.

Они пробегают под моим окном одушевленные, жестикулирующие; ибо ежедневно чеканятся новые слова воодушевления и каждый, у которого они легко срываются с уст, считает себя спасенным и окруженным общим сочувствием. Я знаю, что они молчат, если бы даже и хотели говорить, кричать, рыдать; и что они охотятся за «шкурниками», а между тем не придумали еще ругательного слова для тех в тысячу раз бо́льших трусов, которые, не воодушевленные никакими лозунгами, ясно сознают всю бессмысленность убийства миллионов людей и, тем не менее, не открывают рта, боясь навлечь на себя гнев безмозглых эгоистов.

Из моего окна я вижу весь земной шар, который кружится, как взбесившийся волчок, подгоняемый важными господами из хитрого расчета, а продажными слугами — из подлого угодничества.

Я вижу всю эту свору! Крикунов, слишком пустых и апатичных, чтобы иметь свое собственное «я», и довольствующихся лицемерными похвалами, расточаемыми по адресу всего их стада. Я вижу подлецов, которых защищает, содержит и кормит темный народ и которые, как ханжи, поклоняются ими же самими выдуманному идолу и вбивают его в умы многих миллионов честных людей, создавая не имеющую ни души, ни разума фанатическую, слепо верующую массу. Я вижу всю драму, которая бешеным темпом разыгрывается в крови и муках, вижу зрителей, равнодушно проходящих мимо нее, и меня называют безумцем, когда я распахиваю окно, чтобы крикнуть вниз, что их детей, выношенных и выращенных ими, их мужей, которых они любили, ведут, как скот, на убой! Что за ними охотятся, как за дичью!

И вот это дурачье, там внизу, которое ради почтительных визитов с изъявлением соболезнования и поощрительной улыбки жертвует светом и теплом своей жизни, кидает в проволочные заграждения свою плоть и кровь, позволяет, чтобы эти жертвы, как падаль гнили на полях, и дает их выуживать, не имея другого утешения, как то, что над «врагом» учиняется то же самое, — это дурачье остается на свободе и, изощряясь в своем жалком тщеславии и кощунственном долготерпении, ежедневно доставляет на фронт новые гекатомбы. Я же, бессильный что-нибудь сделать, должен сидеть здесь, — один с моим неумолимым товарищем, которого ежедневно вновь родит моя совесть.

Я стою у окна, и между мной и улицей лежат груды тел тех, которых я видел истекающими кровью. Беспомощный стою я тут, ибо револьвер, данный мне в свое время для того, чтобы пристреливать изнывающих в тоске по родине несчастных людей, наряженных железной волей судеб в не нашего покроя и цвета

мундиры, — у меня здесь отняли из опасения, как бы я не разыскал в их безопасных убежищах парочку-другую массовых убийц и не отправил их, дабы другим не повадно было, вслед за их жертвами.

Итак, я должен томиться здесь за своей решоткой, я — один зрячий среди слепых; и мне не остается ничего другого, как пустить эти листки по ветру, — и изо дня в день писать новые и вновь кидать их на улицу.

Я буду писать без устали. Засыплю моими листками весь мир! Пока во всех сердцах не взойдут семена, пока в каждой семье дорогие убитые, словно голубые призраки, не станут показывать свои раны; и, пока наконец, не раздастся под моим окном чудная искупительная песнь земли, многомиллионный яростный крик: «Окрошка из человеческого мяса!»

ГЕРОЙСКАЯ СМЕРТЬ.

Господин штабной врач не понял. Он сердито покачал головой и вопросительно взглянул, надвинув пенснэ, на своего ассистента.

Белокурый старший врач застенчиво молчал, вытянувшись в струнку, ибо он тоже не понял.

Только денщик, стоявший у постели, казалось, сохранил еще некоторый контакт с кошмарами своего господина, так как на кончиках его нафабренных усов, словно нанизанные, сверкали две слезинки. Но денщик говорил только по-венгерски, так что господин штабной врач, пробормотав вполголоса: «болван», махнул на него рукой и, потея и пыхтя, помчался в сопровождении светлорусого олицетворения робости по направлению к операционной комнате.

Когда врачи ушли, огромный ком ваты, в котором скрывалась голова, согласно дощечке над кроватью, поручика запаса ...ского полевого артиллерийского полка Отто Кадара, снова опустился на подушки. Мишка опять уселся на свой вещевой мешок, уронил две слезы и, стиснув голову огромными немытыми лапами, в отчаянии задумался над своей будущностью. Ибо, что поручик долго не протянет, было для него совершенно ясно. Он ведь знал, что скры-

валось в громадном коме ваты, он, ведь, видел размозженный череп и страшную, похожую на потроха, серую массу под кровавыми осколками: мозг несчастного поручика. Он больше уже не может рассчитывать на такое чертовское счастье. Да и вообще не найти второго такого доброго человека и начальника! Все эти бесчисленные ломтики колбасы, которые поручик постоянно уделял ему из своего собственного запаса, ласковые теплые слова, которые он шептал каждому раненому, все воспоминания этого долгого кровавого времени, в течение которого он, Мишка, тупо страдал, почти как товарищ, бок-о-бок со своим господином, — встали теперь перед его глазами. Добряку Мишке было очень жаль самого себя в своей полной беззащитности против громадной машины — войны, в которую ему снова предстояло быть где-нибудь брошенным, но на сей раз без надежной поддержки доброго поручика.

Он сидел на корточках, как верный пес, в ногах своего умирающего господина, и на кончики его усов, склеившихся от пыли и помады, одна за другой скатывались слезы.

Совсем ясно не было и Мишке, почему бедный поручик постоянно так ужасно кричал о своем граммофоне. Он только знал, что господа офицеры сидели в блиндаже, и граммофон наигрывал им марш Ракочи, как вдруг со свистом пролетела эта проклятая граната, и затем все скрылось в земле и дыму.

Он сам ведь тоже лишился сознания, потому что сорвавшаяся, точно с неба свалившаяся доска ударила его по спине так, что он упал и бесконечно долго не мог притти в себя.

Потом . . . потом Мишка припоминал только, и то неясно, невероятную кучу раздробленных досок, обвалившихся балок, какую-то кашу из обрывков

мешков, бетона, земли, человеческих конечностей и крови . . . . . и . . . . . . кадета Мельцара, который все еще сидел прямо, прислонившись спиной к остаткам боковой стены, с граммофонной пластинкой, которая еще только-что играла марш Ракочи и которая каким-то чудом уцелела и сидела на том месте, где, собственно говоря, следовало бы находиться его голове. Но головы не было. Ее не было, совсем не было; граммофонная пластинка, тоже прислонившись к стене, стояла прямо на окровавленном воротнике. Это было ужасно! Ни один солдат не захотел прикоснуться к этому сидевшему телу, на шее которого точно голова, сидела пластинка. Брр!... Мишка почувствовал, как мурашки забегали у него по спине при этом воспоминании, и сердце у него замерло от ужаса, когда, как-раз в этот момент, поручик снова начал кричать:

— Граммофон!.. только граммофон!...

Мишка вскочил, увидел, что огромный ватный ком с трудом отделился от подушки, увидел единственный, оставшийся у его господина глаз, жадно уставившийся на что-то невидимое, и стоял сконфуженный, словно виноватый, когда со всех соседних кроватей на него устремились негодующие взгляды.

— Ведь это невыносимо! — крикнул тяжело-раненый майор с другого конца длинной палаты, уберите же этого человека.

Но майор говорил по-немецки, так что Мишка еще больше растерялся, утер пот, выступивший у него на лбу от страха, и осмелился доложить лежащему рядом с его господином подпоручику, так как его господин все равно ничего не слышал, — что граммофон разбился, разбился вдребезги, не то бы он. Мишка, не оставил его лежать там, а принес сюда, как и все, что удалось отыскать из вещей господина поручика,

Никто ему не ответил. Во всей длинной палате господа офицеры, как по команде, спрятали головы под подушки и натянули на них одеяла; старый майор даже наворотил себе на голову, в виде чалмы, свою окровавленную шинель, только бы не слышать ужасного смеха, переходившего то в вой, то в неистовые крики, в которых повторялось слово граммофон.

— Господин поручик!.. Ваше благородие, господин поручик! — умолял Мишка и гладил своими жесткими руками слегка вздрагивавшие колени своего господина.

Но поручик Кадар не слышал его. И не чувствовал он также тяжелой руки, лежавшей на его коленях. Ибо перед ним все еще сидел кадет Мельцар с плоской черной круглой головой, на которой, в виде спирали, был начерчен марш Ракочи. Теперь же поручику вдруг стало совершенно ясно, что он в течение шести месяцев был несправедлив к бедному Мельцару. Разве бедняга был виноват в своей глупости и в своих нелепых патриотических фразах? Как же мог он здраво рассуждать, имея граммофонную пластинку вместо головы?.. Бедный Мельцар!.. Поручик Кадар прямо-таки не мог этого понять, и ему казалось непостижимым, как это он уже шесть месяцев тому назад, сразу же при поступлении кадета Мельцара в батарею, не догадался, что с бедным мальчиком сделали там, в тылу!..

Ему ведь подменили голову! Просто отвинтили его красивую, русую, восемнадцатилетнюю голову и заменили ее исцарапанной пластинкой, которая не могла делать ничего другого, как только хрипло наигрывать марш Ракочи, — ведь это теперь уже доказано! Как должен был страдать бедный мальчик, когда поручик, который был старше его лет на двадцать, беспрерывно читал ему лекции о гуманности! С этой пло-

ской круглой пластинкой, которую ему насадили, он, конечно, не мог понять, что оборванные и окровавленные итальянские солдаты, которых вели мимо батареи, тоже куда охотнее остались бы дома, если бы приказ, вывешенный на углу улицы, не заставил их бросить все, точно так же, как мобилизация в Венгрии заставила поступить венгерских канониров.

Теперь только понял поручик Кадар неукротимое упрямство своего кадета. Теперь только он постиг, почему этот мальчик, который мог быть ему сыном, молчаливо выслушивал прекраснейшие, умнейшие речи и объяснения, чтобы в заключение просвистать марш Ракочи и неизменно со скрежетом зубовным повторять стереотипную фразу:

«Перебить их, собак, надо!»

Стало-быть, не потому, что он был еще так молод и глуп! Не потому, что он из кадетского корпуса сразу попал на фронт. Граммофонная пластинка была этому виной. Граммофонная пластинка!

Поручик Кадар почувствовал, что его жилы вздулись как веревки, и кровь, точно молотом, застучала у него в висках; так неукротима была его ярость против злодеев, коварно отвинтивших мальчику его милую голову, которую он прежде гордо носил на шее.

И... вот что было самое ужасное во всем этом деле: вспоминая теперь своих подчиненных и товарищей, офицеров, он представлял себе всех их, точь-в-точь как бедного Мельцара, без головы. Он зажмурил глаза, хотел вызвать в памяти черты лица своих канониров... но тщетно! Ни одно лицо не сохранилось в его памяти. Месяцы за месяцами провел он в кругу все тех же людей, — и только теперь догадался, что ни у одного из них не было на шее головы! Не то он ведь должен был бы помнить, были ли у его фейерверкера усы или нет, был ли

ездовой первого орудия брюнет или блондин. Но нет!.. Ничего у него не осталось в памяти. Только граммофонные пластинки видел он, черные, гладкие круглые пластинки, насаженные на окровавленные гимнастерки...

Вся местность при Изонцо вдруг представилась ему лежащей далеко под ним, как огромная топографическая карта, такой, какой он ее часто видел в иллюстрированных журналах. Серебряной лентой извивалась река среди гор и холмов, и поручик Кадар несся над толпой, без мотора и летательного аппарата, только на своих распростертых руках. И повсюду, куда падали его взоры, на каждом холме, на каждой горе, в каждой лощине, он видел рупоры бесчисленных граммофонов, вделанных в землю. Тысячи и десятки тысяч похожих на рог изобилия граммофонных труб из голубой жести с золотым ободком глядели на него, выпучив глаза и разинув пасти. И вокруг каждого врытого в землю рупора копошилась муравейная куча канониров с патронами и гранатами.

И теперь поручик Кадар увидел совсем ясно: у них у всех на шее были насажены граммофонные пластинки, как у кадета Мельцара. Ни у одного не было своей собственной головы! Когда же гранаты с воем вылетали из голубых воронок и попадали в самую середину муравейника, то плоские черные пластинки под ударами осколков с треском разлетались вдребезги и в то же мгновение снова превращались в настоящие человеческие головы. Поручик Кадар видел сверху, как выпирали мозги из разбитых пластинок, как равномерно покрытые рубцами поверхности с быстротою молнии превращались в бледные, страдальческие человеческие лица.

Все тайны войны, все, над чем умирающий поручик месяцами размышлял ночи напролет, казалось

теперь раскрытым. Стало-быть, вот как это надо было понимать! Этим людям возвращали их головы, очевидно, только тогда, когда дело уже касалось смерти. Далеко-далеко, там, где-то в тылу, им их отвинчивали, заменяли пластинками, которые ни на что не были годны, как только играть марш Ракочи. Снарядив их подобным образом, их погружали в поезда, и в таком виде они прибывали на фронт, как бедный Мельцар, как он сам, как все...

Охваченный безумным гневом, ватный ком стремительно приподнялся. Поручик Кадар хотел вскочить, открыть людям свою тайну, уговорить их, чтобы они потребовали свои головы обратно. Всем и каждому хотел он это шепнуть на ухо, на всем огромном протяжении фронта от Плавы до самого моря. Каждому отдельному канониру и каждому отдельному пехотинцу, а также и итальянцам по ту сторону фронта! И тем он хотел это сказать. Ведь и им привинтили к шее пластинки. И тем следовало бы вернуться обратно в Верону, в Венецию, в Неаполь, где их головы хранились в складах до окончания войны. От солдата к солдату хотел перебегать поручик Кадар, чтобы каждому, своему и врагу, помочь вернуть себе голову!

Но тут он внезапно заметил, что он не может ходить. Да и лежать уж он больше не мог! Точно толстыми стальными тросами были прикованы к постели его ноги, чтобы он не мог разгласить великой тайны.

Ну что же, тогда он провозгласит ее звонким, нечеловечески громким голосом, голосом, который, покрывая рев и треск гранат, возвестит истину от Плавы до Триеста и передаст ее дальше, в Тироль, до побережья Фландрии и вплоть до Персидского залива, как трубный глас страшного суда!

Он хотел закричать так, как еще никогда не кричал человек:

— Граммофон . . . Идите за головами! . . Только граммофон . . .

Но вот его голос посреди благой вести внезапно с хрипом оборвался. Было слишком больно! Он не мог кричать. Ему казалось, будто при каждом слове, которое он выкрикивал, острая игла глубоко вонзалась в его мозг.

Игла? . .

Ну да, конечно! . . Как же он мог об этом позабыть? Ведь и ему отвинтили голову. И у него была на шее только граммофонная пластинка, как и у всех других. Когда он хотел говорить, игла вонзалась в его череп и начинала безжалостно скользить по всем извилинам его мозга.

Нет! Этого он не мог вынести! Лучше уж он будет молчать, лучше он сохранит тайну. Только бы не эта боль, эта с ума сводящая боль в голове! . .

Но машина продолжала вертеться. Поручик Кадар схватил голову обеими руками и впепился ногтями глубоко в виски. Если ему не удастся во-время остановить машину, то его собственная голова, продолжая кружиться, непременно в скором времени свернет ему шею! . .

От страха холодный пот жемчужинами выступил у него на лбу.

— Мишка! — закричал в отчаянии поручик.

Но Мишка не знал, что ему делать. Пластинка продолжала кружиться, громко и весело наигрывая марш Ракочи. Уже натянулись все жилы . . . и снова поручик чувствовал, как его собственная голова выскользала из его рук . . . уже глазам его открывался позвоночник! Со страшным напряжением последних сил попытался он еще раз залезть руками под по-

вязку и протолкнуть голову вперед... Потом... потом еще ужасный скрежет и стон... а затем, затем, наконец, все стихло в длинном коридоре...

Когда светлорусый ассистент вернулся из операционной, он уже издали, по визгливому плачу Мишки, догадался, что на офицерской половине опять освободилась кровать. Старый нетерпеливый майор подозвал его к себе и объявил ему с едва заметной дрожью в голосе, громко, чтобы услышали все офицеры:

— Этот бедняга, наконец, навеки успокоился. Он умер, как истый венгерец!—с маршем Ракочи на устах!

ВОЗВРАЩЕНИЕ.

Сквозь листву в первый раз мелькнуло озеро, и уже показались хорошо знакомые серые известковые горы, которые, словно грозящие пальцы, врезались через железнодорожную насыпь далеко в воду. Вот там, за закоптевшей черной дырой в светлой стене, сразу же после выхода из короткого туннеля, на мгновение показались над откосом верхушка церковной колокольни и уголок замка.

Иоганн Богдан высунулся из окна вагона и жадным взглядом как человек, проверяющий свое имущество, напряженно и недоверчиво глядел на местность, желая определить, не пропало ли что-нибудь за время его отсутствия. При виде каждой знакомой ему группы деревьев, он удовлетворенно кивал головой, сравнивая местность с той картиной, которая глубоко запечатлелась в его памяти. Все было правильно. На большом шоссе, которое тянулось рядом с железнодорожным путем, каждый камень, отмечающий километры, твердо стоял на своем месте; только-что промелькнул огненно-красный бук, подъезжая к которому лошади всегда пугались и однажды чуть не опрокинули экипаж.

Иоганн Богдан глубоко и тяжко вздохнул, вынул из кармана крошечное круглое зеркальце и в послед-

ний раз перед тем, как остановить поезд, посмотрел на свое лицо. Ему казалось, что с каждой станцией оно становилось все уродливее и уродливее. Правая сторона выглядела еще сносно: на ней осталась еще частица его усов, и щека была еще сравнительно гладкая, если не считать плохо зажившей раны у рта. Но слева!.. Левая сторона могла кое-что поведать проклятой столичной шайке, которая во время войны, так же как и в мирное время, только и помышляла о том, как бы обмануть бедных мужичков. Подлецы были они все, как важный господин профессор, так и знатные дамы в белоснежных халатах со своими глупыми, напыщенными фразами. Видит бог, что было немудрено заманить в ловушку простодушного кучера, который еле-еле выучился немного писать и читать. Они шутили с ним, говорили ему комплименты, пообещали ему бог знает чего, и вот он сидит здесь, беспомощный, предоставленный самому себе, погибший человек.

Со злобным проклятием сорвал он с головы шляпу и бросил ее рядом с собой на скамейку.

Разве это было похоже на человеческое лицо? Разве позволительно так обезобразить человека? Нос казался как бы составленным из маленьких разноцветных кусочков, рот был искривлен, вся левая щека распухла, была красна, как сырое мясо, и изрыта вкривь и вкось глубокими рубцами. Отвратительно! К тому же вместо скуловой кости — продолговатое углубление, настолько глубокое, что в нем мог уместиться палец. И ради всего этого он позволил себя так мучить! Ради этого дал он заманить себя, как терпеливая овца, семнадцать раз в эту проклятую комнату со стеклянными стенами и с множеством сверкающих ножей. Сегодня еще он весь содрогался при воспоминании о тех муках, которые со скрежетом

зубов терпел только для того, чтобы вновь приобрести человеческий образ и возвратиться на родину к своей невесте.

И вот он приехал! Поезд со свистом выехал из туннеля, шаровидные акации перед домом начальника станции кивали ему в окно. Иоганн Богдан злобно поволок по коридору свой тяжело нагруженный вещевой мешок, нерешительно спустился со ступенек, и, когда поезд, который его привез, покатился дальше, он остановился в недоумении, как бы ища помощи.

Он вытащил свой большой пестрый носовой платок и вытер пот, который крупными каплями выступил у него на лбу. Что ему теперь делать? Зачем он вообще сюда явился?.. Теперь, когда его нога коснулась, наконец, горячо желанной родной земли, его вдруг охватила страшная тоска по госпиталю, который он в восторге покинул только сегодня утром, всего несколько часов тому назад. Он вспомнил длинный коридор со множеством забинтованных людей, которые ковыляли, хромали, будучи калеками, слепыми или изуродованными. Там давно уже никто не удивлялся обезображенному его лицу. Наоборот! Большинство завидовало ему, потому что он, по крайней мере, остался работоспособным, сохранил здоровые руки и ноги и правый глаз. Очень многие охотно поменялись бы с ним. Некоторые даже делали неодобрительные замечания и находили несправедливым, что государство дало ему за потерянный глаз пенсию, как инвалиду. Один глаз и немного поцарапанное лицо — ведь это было ничто в сравнении с деревянной ногой, искалеченной рукой или простреленными легкими, которые при малейшем напряжении свистели и гудели, как испорченная машина. Он считался счастливчиком среди этого множества калек. Знамени-

тостью! Весь свет знал там его историю. Кто бы ни зашел в госпиталь, всякий первым делом желал взглянуть на Иоганна Богдана, которого семнадцать раз оперировали, и у которого вырезали полосы кожи на спине, на груди и на бедрах. После каждой новой операции, когда снимали повязку, двери его палаты ни на минуту не закрывались; высказывались сотни различных мнений, и каждому вновь входившему подробно объясняли, как ужасно выглядело его лицо до операции. Те немногие, которые лежали в этой палате с самого начала с Иоганном Богданом, описывали его прежнее ужасное состояние с таким энтузиазмом, как-будто они сами были причастны ко всем удавшимся операциям. Таким образом, Иоганн Богдан постепенно стал кичиться своим ужасным ранением и успехами восстановления своей красоты и, покидая госпиталь, надеялся, что в деревне все будут смотреть на него, как на диво. А теперь?..

Осиротелый, одинокий, с мешком на спине и чемоданчиком в руках, озаряемый ярким солнцем венгерской долины, глядя на широко раскинувшееся перед ним село, Иоганн Богдан внезапно пал духом и почувствовал какой-то страх, которого он не знал ни при приближении гранат, ни в атаках на жизнь и смерть, ни в ожесточеннейших рукопашных схватках. Глубокие размышления были недоступны его ленивому уму, его грубо сколоченной из упрямства и самодовольства натуре. Но какое-то инстинктивно неприятное чувство и враждебное недоверие, охватившее его, достаточно ясно говорили ему, что его ожидают разочарования и обиды, которые ему и не снились, когда он был в госпитале. В унынии взвалил он себе на спину свою поклажу и нерешительными шагами направился к выходу. Здесь, в тени этих запыленных акаций, которые выросли

на его глазах и видели, как он рос, он вдруг почувствовал себя как бы на очной ставке со своим прежним «я», с красивым Иоганном Богда̀ном, которого все тут знали, как представительного господского кучера. На кой чорт были тут все операции и заплаты! Здесь не могло быть никакого другого сравнения, кроме того мучительного сравнения между бойким, веселым парнем, прокричавшим здесь, в первый день мобилизации, охрипшим от песен голосом прощальный привет своей Марце, и тем калекой, который теперь с одним глазом и разбитой челюстью, с заплатанным лицом и рассеченным носом стоял перед тем же станционным зданием, озлобленный и убитый горем, как-будто это несчастье случилось с ним лишь этим утром.

Возле маленькой решетчатой двери стояла с билетными щипцами в руке жена железнодорожного сторожа Ковача, который с самого начала войны находился на русском фронте, и, с кем-то разговаривая, с нетерпением ожидала последнего пассажира. Иоганн Богда̀н увидел ее, и его сердце так сильно забилось, что он невольно замедлил шаг. Узнает ли она его или нет? Его колени подгибались, как-будто они внезапно обессилели, а его рука дрожала от волнения, когда он протянул ей свой билет.

Она взяла его билет и уступила ему дорогу, не вымолвив ни слова.

У бедного Богда̀на сперло дыхание. Он собрал все свои силы, посмотрел на нее своим единственным глазом упрямо в лицо и сказал, с трудом владея голосом:

— Здравствуйте!..

— Здравствуйте! — повторила женщина.

Он встретился с ее взглядом, увидал, как ее глаза расширились, оцепенели, неуверенно скользнули по его растерзанному лицу и быстро отвернулись от него, как

будто они не могли вынести его вида. Он уже хотел было остановиться, но вдруг услышал, как ее дрожавшие губы почти беззвучно прошептали «пресвятая богородица!» словно он пришел с того света. И обиженный, он, пошатываясь, пошел дальше.

— Не узнала! — выстукивала кровь у него в ушах. — Не узнала! — Не узнала! Он дотащился до скамьи, стоявшей против станционного здания, сбросил свою ношу и присел. — Не узнала!

— Жена железнодорожного сторожа Ковача не узнала Иоганна Богдàна. Дом ее родителей стоял рядом с его родительским домом, они вместе ходили в школу, вместе конфирмовались; он ее обнимал, целовал ее, бог знает, как часто, до того, как появился в деревне Ковач и посватался к ней. И она его не узнала! Даже по голосу не узнала; так он изменился!

Невольно он взглянул еще раз туда, где она стояла и оживленно говорила что-то начальнику станции; по ее жестам он догадался, что она рассказывала об ужасном зрелище, о страшно изуродованном чужом солдате, которого она только-что видела. Он испустил короткий вздох, поник головой и разрыдался, как покинутая женщина.

Что ему теперь делать? Пойти в замок, открыть дверь в людскую и дерзко прокричать удивленной Марце «здравствуй!»?

...Да, так он раньше думал. Представлял себе эту картину, чорт знает, сколько раз: переполох среди служанок, радостный возглас своей невесты, с которым она кинется к нему на шею, и те тысячи вопросов, которыми его забросают, в то время как он, держа на коленях Марцу, лишь иногда, небрежно будет отвечать благоговейно внимающей ему компании.

Где же это все теперь?.... Пойти к Марце?... С этим лицом, при виде которого перекрестилась

жена железнодорожного сторожа Юлия?.. Разве не прославилась Марца на весь околоток своим острым языком и своею надменностью? Без конца отказывала она женихам и водила всех за нос, пока наконец, не влюбилась в него.

Иоганн Богдан крепко закусил губы, и лишь сильная боль помогла ему побороть рыдание. Схватившись за голову, он погрузился в глубокое размышление.

Никогда в его жизни не было, чтобы у него что-нибудь не спорилось. Везде его любили: в школе, у господ в замке и на военной службе. Красивый, смышленый малый, прекрасный наездник и расторопный кучер, которого лошади любили так же, как и он их, он жил весело, привык к тому, чтобы женщины таяли от восторга, когда он, пролетая мимо них, великодушно посылал им воздушные поцелуи. Только с Марцей роман длился у него дольше; но за то она ведь считалась самой красивой девушкой в околотке, и даже сам барин чуть ли не с завистью похлопал его по плечу, когда они обручились.

— Красивая пара! — сказал священник.

Ощупью выудил Иоганн Богдан опять свое маленькое зеркальце из кармана и вновь поник головой, подавленный глубокой грустью. Это был жених красивой Марцы? Что было общего между этой обезьяньей рожей, этой искромсанной, пестрой мордой, которую смастерил ему проклятый обманщик и мошенник, так называемый знаменитый профессор, и тем Иоганном Богданом, за которого обещала выйти замуж Марца и которого она с рыданием провожала, когда он уходил на войну. Для Марцы существовал лишь один Иоганн Богдан, который был господским кучером и самым красивым мужчиной во всей деревне. Разве он был теперь еще господским кучером?.. Барин ни за что не пожелает обезобразить свой красивый

выезд таким пугалом и отправиться в главный город округа с такой рожей на козлах. Его пошлют косить и убирать сено или вывозить из хлева навоз. И Марца, красавица Марца, за которой ухаживают все мужчины, должна будет сделаться женой какого-то несчастного поденщика?

Нет, Иоганн Богдан определенно чувствовал, что для Марцы тот человек, который сидел здесь на скамье, не был более прежним Иоганном Богданом. Она его больше не захочет, так же, как господа не захотят посадить его на козлы. Калека остается калекой, а Марца обручилась с Иоганном Богданом, а не со страшным уродом, каким он вернулся.

Его тоску мало-по-малу сменила безудержная злоба против городских идиотов, которые его так опутали, так обманули и, бог знает, что наврали ему. Марца должна им гордиться, потому что его обезобразили на войне, ради родины! Гордиться? Ха! ха! ха!

Он язвительно рассмеялся, и его пальцы судорожно сжали злополучное зеркальце, пока он не раздавил его, превратив в тысячу осколков, и не порезал себе руку. Кровь медленно капала с руки, но он этого даже не замечал, так велик был его гнев против этого знатного бабья в госпитале, которое своей болтовней лишило его рассудка. Они, вероятно, думали, что для деревенской девушки достаточно хорош муж с одним глазом и половиной носа? Родина?.. Да разве ей с родиной итти к алтарю? Разве могла она гордиться этой родиной, когда другие женщины будут с сожалением поглядывать на нее? Смешно!..

Здесь, на скамье перед станционным домом, где красовалась надпись, которая в одном слове, одним лишь своим названием объединяла всю его жизнь, все его воспоминания, надежды и переживания, он внезапно вспомнил хромого Петра, который жил в раз-

валившемся домике за мельницей много лет тому назад, когда он сам был еще ребенком. Он ясно видел его перед собой, с его стучащей деревянной ногой и с его изголодавшимся печальным лицом. Тот тоже пожертвовал своей ногой для «родины», — там, в Боснии, во время оккупации, и должен был потом жить один в старой избушке и служить посмешищем для детей, передразнивавших его походку, — нелюбливаемый крестьянами, которые злились на него за то, что он был в тягость общине и жил на ее счет. «На службе у родины?» — Никто никогда не упоминал о родине, когда проходил мимо хромой Петр. Его с презрением называли деревенским нищим, вот и все!

Иоганн Богдан заскрежетал зубами, злясь на то, что Петр не вспоминался ему еще в госпитале. Тогда он как следует высказал бы свое мнение городским болтунам об их глупых речах по поводу родины и о «великой чести» возвратиться домой к Марце в облике обезьяны. О, если бы он мог теперь вцепиться в господина профессора! И фотографировал ведь его этот обманщик, и не один только раз, — нет! — по крайней мере раз двенадцать, со всех сторон; после каждого живодерства все снова и снова; как-будто ему удался, бог знает, какой фокус. А теперь его не узнала даже жена железнодорожного сторожа Юлия — жена сторожа Юлия, его соседка с юных лет!..

Иоганн Богдан был так погружен в свое горе, так увлекся, придумывая планы неслыханного мщения, что совсем не заметил того человека, который уже несколько минут стоял перед ним и с любопытством со всех сторон оглядывал его. Горячая волна прилила ему к лицу, и его сердце остановилось от радостного испуга, когда внезапно чей-то голос вывел его из состояния задумчивости:

— Это ты, Богдан?

Он привскочил, радуясь тому, что его вообще кто-нибудь узнал, и разочарованно поморщился, когда увидел перед собою горбатого Михаля. Во всей деревне, во всей округе не нашлось бы человека, которому Иоганн Богдан не пожал бы в эту минуту со стремительной благодарностью руки. Но с этим горбуном он не хотел иметь ничего общего. Теперь уже ни в коем случае! А то, пожалуй, этот тип вообразит, что нашел себе в нем товарища, и наверное очень доволен, что теперь он не единственный калека в этом местечке.

— Ну да, это я. Что скажешь еще?

Горбун своими маленькими пытливыми глазами с любопытством разглядывал изрытое рубцами лицо Богдана и сочувственно качал головой.

— И здорово же тебя русские обработали!

Как тявкающий пес фыркнул ему Богдан в ответ:

— Совсем не твое дело! Тебе-то нечего рассуждать! Если бы я уж из чрева матери вышел в таком виде, как ты, с брюхом на спине, то русским не пришлось бы иметь дело со мной.

Горбун спокойно сел рядом с ним, совершенно не обидевшись на его слова.

— Вежливее ты на войне не стал, Богдан, это я уже вижу, — заметил он сухо. — Ты не в радужном настроении, могу себе представить. Да, таковы дела! Бедные люди должны отдавать свои здоровые кости, чтобы неприятель не отнял у богачей их излишков! Можешь еще быть доволен тем, что ты так счастливо отделался.

— Да я и доволен, — пробурчал Богдан, со злостью взглянув на горбуна. — Богат ли ты или беден, об этом граната не спрашивает. Там, на поле битвы, лежат графы и бароны и гниют на солнце, как выбро-

шенная падаль. Кого наш господь бог не покарал еще с колыбели тем, что он его сделал непригодным ни в качестве мужчины, ни в качестве женщины, тот находится теперь на поле сражения безразлично беден ли он, как церковная мышь, или богат и привык кушать с золотых блюд.

Горбун кашлянул и пожал плечами.

— Есть и такие и другие, — сказал он, хотел еще что-то добавить, но передумал и замолчал.

Этот Богдан всегда был жалкой, несчастной лакейской душонкой, гордился тем, что имел возможность служить важным господам, чувствовал себя солидарным со своими угнетателями, потому что, одетый в узкую куртку с серебряными пуговицами, он способствовал их блеску. Они погнали его на фронт для того, чтобы он помог им защищать их богатства; и вот он сидел здесь изувеченный, с одним лишь глазом, и все еще держал сторону своих господ. Против такой глупости ничего уж нельзя было поделать. Жалко было каждого слова.

Некоторое время они молча сидели рядом. Богдан обстоятельно набивал себе трубку, а горбун внимательно поглядывал на него.

— Ты пойдешь в замок? — осторожно спросил он, когда трубка была, наконец, зажжена.

Иоганн Богдан отлично знал, куда метил ненавистный тип. Он ведь его знал. Ведь он был социалистом! Из тех мерзавцев, которые лишают бедных людей их хлеба благодаря своей глупой болтовне; совсем как скверная собака, кусающая руку, которая ее кормит. Он работал в качестве надсмотрщика на кирпичном заводе, имел хороший заработок и, в благодарность за это, натравливал против господ всех рабочих до тех пор, пока они не потребовали двойной платы и не решили поджечь замок со всех четырех концов. Он и Богдана пытался однажды подбить, стараясь очер-

нить его барина. Но не тут-то было. Пара пощечин и здоровый пинок ногой впридачу были ответом, выбившим из его головы мысль сделать Иоганна Богдана социалистом, плутом, который не признает ни бога, ни отечества.

А горбун беспокойно ерзал по скамье и время-отвремени бросал украдкой испытующий взгляд на своего соседа; наконец, собрался с духом и внезапно сказал:

— Они наверное будут тебе рады там, в замке. Твои руки ведь еще могут работать, а им люди нужны на заводе.

Богдан сморщил нос.

— На кирпичном заводе? — спросил он пренебрежительно.

Горбун громко рассмеялся.

— На кирпичном заводе? Как бы не так! Кому нужны кирпичи во время войны? Кирпичного завода давно нет, милейший. Там теперь выделывают гильзы для гранат. Видишь, вон там стоят вагоны? Они все нагружены гильзами для гранат. Каждую субботу отправляется отсюда целый поезд.

Богдан стал внимательно прислушиваться. Это было что-то новое; перемена в имении, о которой он еще ничего не знал.

— Вот видишь, это все так хорошо распределено, — продолжал горбун, насмешливо улыбаясь, — один отправляется на войну и дает разбить себе череп, а другой остается дома и выделывает гильзы для гранат и оклеивает свой замок ассигнациями. Мне, конечно, это безразлично.

— Что же, по-твоему, стрелять нам горохом, хе, хе, или воздухом? Без гранат нельзя вести войну. Они так же нужны, как и солдаты.

— Правильно! И потому-то богатые господа могут выбирать, потому они заставляют тебя нести на поле

сражения твою голову. Что ты получаешь за твой глаз? Сто крон в год? Или даже сто пятьдесят? А другие, которых клюет ворона, даже и этого не имеют от войны. Наш же любезный барин, там в замке, зарабатывает каждый день тысячи и не рискует при этом даже своим мизинцем. Таким патриотом и я хотел бы быть. Можешь мне поверить! Вначале, конечно, говорили, что он тоже пойдет на войну. И он торжественно отправился. Но после трех недель он вернулся... с монтерами и машинами, и теперь он говорит красивые речи, посылает других на смерть и в их отсутствие ухаживает еще за их женами; набивает себе карманы и тискает всех девушек на фабрике. Ведь он единственный настоящий мужчина во всем околотке.

Сердито нахмурившись, слушал Богдан горбуна. Но последняя фраза нарушила его равновесие. Он заволновался и некоторое время мужественно боролся с искушением задать вопрос, который горел у него на языке, но в конце концов все-таки не выдержал и внезапно выпалил:

— Что... Марца тоже работает на фабрике?

Глаза горбуна блеснули.

— Красавица Марца! Ну, конечно! Она стала старшей работницей. Говорят, правда, что она никогда еще не держала в руках ни одной гильзы, но зато руки любезного хозяина...

С коротким хриплым криком схватил Иоганн Богдан за горло горбуна и не выпускал его из своих рук до тех пор, пока тот, задыхаясь и весь посинев от боли, не свалился на землю. Тогда Богдан поспешно собрал свои пожитки и двинулся в путь гигантскими шагами, как бы опасаясь что-либо пропустить в замке.

Он даже не взглянул больше на горбатого Михаля. Какое было ему дело до человека, который лежал

там и хрипел? Человеком больше или меньше, не все ли равно? Он проходил так мимо тысячей, отупевший от усталости, не думая о том, что серые пятна, которыми пестрели поля, кочки, похожие на кучки навоза, окаймляющие весной на каждом шагу дорогу, были люди, которых уложила здесь смерть. Они ступали по трупам там, под Кельцами, когда переходили поле, где в каждой рытвине торчали цеплявшиеся за воздух землисто-серые руки, вырастали из-под земли ноги в пропитанных кровью штанах и искаженные лица, как-будто все мертвецы выползли из своих могил на страшный суд. Они спотыкались о трупы; маленькому, толстому лейтенанту запаса стало даже дурно, когда он нечаянно наступил на грудь уже наполовину сгнившего русского и продавил ее, так что ему с трудом удалось вытащить свою ногу из зловонной дыры. С улыбкой вспомнил Иоганн Богдан едкие насмешки роты над побледневшим офицером, который стоял, прислонясь к дереву и которого тошнило, как человека, хлебнувшего лишнее.

Ярко сияла проселочная дорога, озаряемая полуденным солнцем. В деревне на колокольне часы пробили двенадцать; с ближайшего холма раздалось как бы в ответ глухое завывание фабричного гудка, и белое облачко поднялось над верхушками деревьев. Богдан ускорил свои шаги и вернее бежал, чем шел, не обращая внимания на капли пота, которые текли у него по затылку и щекотали его. Почти целый год жил он в обстановке госпиталя, видел лишь крыши и стены и вдыхал лизоль и иодоформ. Теперь же его легкие с наслаждением впитывали запах цветущих лугов. Со дня его ранения это была первая прогулка, первая проселочная дорога после тяжелых переходов во время боев в России. Иногда ему казалось, будто он слышит грохот орудий. Непродолжительная схватка с гор-

батым негодяем взволновала его; и его военные воспоминания, которые были покрыты скучным однообразием госпитальной жизни, как густым слоем пыли — вновь пробудились в нем.

Он почти жалел, что слишком рано отпустил проклятого мерзавца! Еще минута, и тому не пришлось бы больше раскрыть своего рта, который так хулил и так клеветал. В изнеможении — он свесил бы свою голову на бок, сделал бы попытку ухватиться растопыренными пальцами за воздух и потом вдруг весь бы съежился, точь-в-точь как взъерошенный толстый русский, с большими голубыми глазами, которого Иоганн Богда̀н первым отправил на тот свет, передав с ним привет святому Петру. Того-то он крепко держал за горло и не выпускал, пока тот не перестал двигаться! Задушил его на смерть. А тот был довольно забавный парень, далеко не такой противный, как этот горбатый подлец. Впрочем, он ведь был самым первым врагом, которого удалось схватить Богда̀ну. За ним следовал целый ряд других, но задушил он только этого. Убил прикладом, заколол штыком, затоптал даже ногами того негодяя, который убил на его глазах его лучшего товарища. Но он больше никого не задушил. Поэтому этот маленький толстяк так крепко засел у него в памяти! Других он больше совсем не помнил. Видел только клубок серо-зеленых мундиров и слышал лишь скрежет, топот, хрипение и проклятия, когда вспоминал свои геройские подвиги. Скольких он, однако, отправил на тот свет? Это известно лишь господу богу. Он умел держать этих типов на почтительном расстоянии от себя. Кто тут долго размышлял, тому было не сдобровать,

И все-таки! Было еще второе лицо, которое он хорошо запомнил. Такой тощий парень длинный как, жердь, с большими желтыми клыками, которые он

оскаливал, как кабан. Да, того он хорошо помнил, как-будто это произошло лишь вчера. Он видел его почти прижатым к стене и держащим наготове свое ружье, чтобы размахнуться. Еще один момент, и приклад обрушился бы на Богдана! Но раньше чем он успел ударить Богдана, штык Богдана уже торчал у него между ребрами, и он откинулся назад. Штык пронзил его насквозь, воткнулся даже в стену и чуть не сломался. Но такой случай не мог повториться. Тогда, когда он стоял, вцепившись пальцами в рукоятку, он еще не знал, что совсем не так трудно заколоть человека; он рассчитывал на бог знает какое сопротивление и твердо помнил, как у него раскрылся рот от удивления, что штык так легко вонзился в этого долговязого парня, как-будто он проткнул масло. Кто этого еще никогда не испробовал, тот думает, что человек состоит из одних костей, и напрягает все свои силы, а потом не знает, как высвободить свое оружие, раньше чем какой-нибудь из этих лохматых чертей не воспользуется его затруднительным положением. Нужно вогнать штык слегка, коротким внезапным толчком; тогда он уже сам собой вонзается дальше. Самое главное — это не спускать глаз с врага. Надо смотреть не на штык, не туда, куда ты намереваешься колоть, а прямо в глаза противнику, чтобы во-время угадать, когда и как он будет парировать удар. И по выражению лица следует определить удобный момент для отступления. Ведь со всеми это происходило совершенно одинаково, точь-в-точь как с тем первым, длинным, свирепым типом, с оскаленными зубами. Их лица вдруг становились совершенно гладкими, как-будто холодное железо, проникнув в их тело, охлаждало всю их злобу, и, широко раскрыв глаза, они удивленно смотрели на врага, как-будто с упреком хотели спросить его: «что ты делаешь?»

Потом они обыкновенно хватались за штык и причиняли себе при этом еще вдобавок ранение руки, прежде чем упасть. Кто этого не знал, не удерживал во-время оружия и не вытаскивал его быстро из раны в тот момент, когда он замечал, что у противника расширяются зрачки, тот падал вместе с ним, или получал от кого-нибудь удар прикладом по голове, раньше чем успевал отделаться от убитого. Все это Иоганн Богдан часто обсуждал с товарищами, когда они, после жестоких боев, высмеивали убитых, поплатившихся жизнью за свою глупость и отсутствие ловкости.

Бодро шагая по знакомой дороге по направлению к замку, Богдан теперь, казалось, окунулся с головой в свои воспоминания. Его ноги бежали сами собой, как лошади, возвращающиеся домой. Он прошел через открытые ворота и ступал уже по усыпанным гравием дорожкам, опустив голову и совершенно не замечая, что уже достиг своей цели.

Ржание лошадей вернуло его к действительности. Он вздрогнул и остановился, глубоко взволнованный, когда в нескольких шагах от себя увидал конюшню и около нее, на фоне сумерок, круп своей любимой белой лошади. Он уже хотел свернуть в сторону конюшни; но в это время далеко на другом конце большой площадки показалась женщина с красным шелковым платком на голове, с высоко поднятым бюстом и с вызывающе покачивающимися бедрами, благодаря чему ее широкая юбка колыхалась, как спелый колос.

Иоганн Богдан остолбенел, как-будто кто-то ударил его в грудь. Ведь это была Марца! Такая походка была лишь у нее одной во всем околотке. Он швырнул на землю свою поклажу и бросился к ней.

— Марца! Марца!—крикнул он звонко на весь двор.

Девушка обернулась и подождала, пока он подошел, с любопытством прищурив глаза. За три шага до нее Богдàн остановился.

— Марца! — повторил он шопотом, боязливо посматривая ей в глаза. Он увидал, что она побледнела, как полотно, увидал ее глаза, беспокойно перебегавшие с его левой щеки на правую и с правой на левую; на ее лице застыл ужас; она закрыла глаза руками и побежала так быстро, как только несли ее ноги.

Глубоко опечаленный смотрел Богдàн ей вслед. Совершенно так представлял он себе их встречу; именно так, а не иначе, с тех пор, как жена железнодорожного сторожа не узнала его. Его только терзало то, что она убежала! Этого она могла бы и не делать. Иоганн Богдàн был не такой человек, чтобы захотеть овладеть женщиной насильно. Если он ей больше не нравится, то она может искать себе другого, а он тоже найдет себе другую. Вот что хотел сказать Марце Богдàн.

Большими прыжками помчался он за нею и поймал ее за руку, когда она уже была лишь в нескольких шагах от машинного отделения кирпичного завода.

— Отчего ты от меня убегаешь? — задыхаясь, пробормотал он. — Можешь мне прямо сказать, если я тебе больше не нравлюсь. Или ты думаешь, что я тебя съем?

Она уставилась на него испытующе, колеблясь. Ему было почти жаль ее, так сильно дрожало все ее тело.

— Как ты выглядишь?! — услышал он ее лепет и побагровел от гнева.

— Ведь тебе сообщили, что я ранен гранатой. Или ты надеялась, что я похорошел? Говори уж откровенно, если ты меня больше не хочешь. Говори напрямик! Да или нет? Я тебя не заставлю выйти

за меня замуж насильно. Только говори сейчас же: да или нет!

Марца молчала. В его лице, в его единственном глазу было что-то такое, что сжимало ей горло, что как бы холодными руками копошилось в ее внутренностях. Она опустила глаза и запинаясь пробормотала:

— Но ведь у тебя нет даже места. Как можем мы повенчаться?.. Ты раньше должен спросить барина...

Иоганну Богдану показалось, что огненно-красная завеса, опустилась перед его глазами. — Барина?.. Что такое говорила она про барина?.. Он вспомнил горбуна и внезапно почувствовал, что плут не солгал. Как раскаленные щипцы, стиснули его пальцы ее руку, так что она вскрикнула от боли.

— Барина? — крикнул Богдан. — Какое отношение имеет барин ко мне и тебе? Да или нет? Я требую ответа! Барина наше личное дело не касается.

Марца выпрямилась. Она почувствовала в себе вдруг удивительную уверенность. Ее щеки опять порозовели, ее глаза гордо заблестели. Она стояла перед ним с вызывающе откинутой назад головой, такая же надменная, какою он знал ее раньше.

Богдан заметил в ней эту перемену, увидел, что ее взгляд устремлен куда-то в даль, выпустил ее руку и стремительно повернулся. Было так, как он предполагал: из машинного отделения вышел барин в сопровождении старого Тота, своего лесничего. Как кошка, проскользнула Марца вперед, кинулась к хозяину, нагнулась и поцеловала ему руку.

Богдан видел, как они втроем приближались к нему, и опустил голову, как бык, готовящийся отражать нападение. Решительное, холодное спокойствие медленно овладело им, как в окопе, когда горнист возвещал об атаке. Рука барина прикоснулась к его плечу; он отступил на шаг. Что это значит? Барин говорил

о храбрости и об отечестве, нес всякую чепуху, которая не имела никакого отношения к Марце! Он дал ему высказаться, дал ему окатить себя потоком слов, совершенно не вникая в их смысл. Его взгляд беспокойно блуждал взад и вперед от барина к Марце и к лесничему, пока он с любопытством не остановился на чем-то блестящем.

Это была никелированная рукоятка охотничьего кинжала, которая висела на поясе лесничего и ярко блестела на солнце.

«Словно штык», — подумал Богдан, и вдруг у него промелькнула мысль вытащить этот кинжал из ножен и всадить его по самую рукоятку в тело подлой Марцы. Но ее круглые бока, ее пышная пестрая юбка смутили его. С бабами ему на войне никогда не приходилось иметь дела. Он не мог себе ясно представить, как это будет, если он вонзит в нее нож. Его взгляд перескочил на барина, и он заметил теперь, что рассердил его своим упорным молчанием.

— Он скалит зубы совсем, как тот долговязый русский! — вспомнилось ему. И он почти улыбнулся, рисуя себе в своем воображении гладкое лицо и удивленно вопрошающие глаза барина. Но, кажется, он сказал сейчас что-то о Марце? Какое, однако, ему до нее дело?

Богдан выпрямился.

— Я уж сам разберусь с Марцей. Это наше личное дело, — сказал он хриплым голосом и посмотрел барину прямо в лицо. У того тоже были усы! Справа и слева совершенно ровные и изящно закрученные кверху. Как это сказал горбун? «Один идет на войну и дает размозжить себе голову...» — Он, собственно говоря, совсем уж не так глуп, этот горбун.

Барин совсем рассердился. Богдан не обращал внимания на его крики и, как загипнотизированный,

пристально глядел на блестящую рукоятку. Лишь тогда, когда до его ушей стало все чаще доноситься имя «Марца», он начал опять прислушиваться к словам барина.

— Марца служит теперь у меня, — говорил барин. — ты ведь знаешь, что я тебя ценю, Богда̀н; поэтому я дам тебе опять работу при лошадях, если тебе этого хочется. Но Марцу ты уж изволь оставить в покое. Я не терплю буянства! Если она хочет выйти за тебя замуж, то я ничего не имею против этого. Если же она не хочет, то ты к ней и не приставай! Если я еще раз услышу, что ты ее обижаешь, я выгоню тебя к чорту, понял?

Кипя от злости, Богда̀н заорал:

— К чорту? Барин хочет послать меня к чорту? Пойдите-ка вы сами сперва туда, сударь! Я уже побывал у чорта! Восемь месяцев я проторчал в аду. По моему лицу вы, сударь, можете видеть, что я возвращаюсь из ада. Разыгрывать здесь роль защитника, набивать карманы и посылать других умирать, это удобно. Кто сидит дома, тому нечего посылать к чорту тех, кто уже побыл в аду вместо него!

Его гнев был так велик, что он говорил совсем, как горбатый социалист, и совершенно не смущался этим. Он стоял готовый ринуться вперед, с напряженными мускулами, как хищный зверь. Он видел, что барин с искаженным лицом бросился на него, видел, как промелькнул в воздухе хлыст, видел, как он опустился на него, но удара, который резко обрушился на его спину, он уже не почувствовал.

Ловким движением выхватил он из ножен охотничий кинжал и всадил его барину между ребрами. Сделал он это не с размаху, чтобы его никто не смог схватить за руку. Нет! Совсем слегка, снизу, коротким толчком, совершенно так, как он этому выучился

на войне. Охотничий кинжал оказался не хуже его штыка; он глубоко вонзился в мясо.

Потом все произошло так, как всегда. Иоганн Богдàн стоял с выпяченным вперед подбородком, видел, как искаженное гневом лицо его барина внезапно смягчилось, стало совершенно спокойным и гладким. Он увидел, как расширились его зрачки, видел, как тот удивленно смотрел на него, совсем как заколотый им русский, с укоризненным вопросом во взгляде: «Что ты делаешь?» Он только не заметил, как тот свалился, потому что мощный удар обрушился откуда-то ему на затылок с таким треском, как будто с бесконечной высоты низвергся на него с невероятной силой водопад. На секунду промелькнуло еще перед ним лицо Марцы, обрамленное огненным колесом; потом он свалился с раздробленным черепом на своего барина, который уже корчился в предсмертных судорогах.

СОДЕРЖАНИЕ.

Цена 75 к.

